

ЛИДИЯ  
САНДГРЕН



роман

С  
И  
Б  
О  
Н

собрание  
сочинений



Большие романы

Лидия Сандгрэн  
**Собрание сочинений**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.113.6(485)  
ББК 84(4Шве)-44

**Сандгрэн Л.**

Собрание сочинений / Л. Сандгрэн — «Издательство АСТ»,  
2020 — (Большие романы)

ISBN 978-5-17-136735-0

Гётеборг в ожидании ретроспективы Густава Беккера. Легендарный *enfant terrible* представит свои работы – живопись, что уже при жизни пообещала вечную славу своему создателю. Со всех афиш за городом наблюдает внимательный взор любимой натурщицы художника, жены его лучшего друга, Сесилии Берг. Она исчезла пятнадцать лет назад. Ускользнула, оставив мужа, двоих детей и вопросы, на которые её дочь Ракель теперь силится найти ответы. И кажется, ей удалось обнаружить подсказку, спрятанную между строк случайно попавшей в руки книги. Но стоит ли верить словам? Её отец Мартин Берг полжизни провел, пытаясь совладать со словами. Издатель, когда-то сам мечтавший о карьере писателя, окопался в черновиках, которые за четверть века так и не превратились в роман. А жизнь за это время успела стать историей – масштабным полотном, от шестидесятых и до наших дней. И теперь воспоминания ложатся на холсты, дразня яркими красками. Неужели настало время подводить итоги? Или всё самое интересное ещё впереди?

УДК 821.113.6(485)

ББК 84(4Шве)-44

ISBN 978-5-17-136735-0

© Сандгрэн Л., 2020

© Издательство АСТ, 2020

# Содержание

Часть 1. Александрийская библиотека	7
1	7
2	12
3	15
Базовое образование 1	20
I	20
II	22
III	26
IV	34
V	40
4	48
5	54
6	58
Базовое образование 2	63
I	63
II	69
III	74
IV	82
7	89
8	94
9	98
Углублённый гуманитарный курс 1	103
I	103
Конец ознакомительного фрагмента.	106

# Лидия Сандгрэн

## Собрание сочинений

© Lydia Sandgren, 2020

© Лавруша Ася., перевод, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

\* \* \*

Мартин Берг лежал на полу в гостиной, скрестив руки на животе. Окружённый кипами бумаги. У головы полуготовый роман, в ногах – образовавшиеся за четверть века горы заметок на салфетках. Локоть правой руки упирается в антологию многообещающих авторов поколения шестидесятых – единственная книга, в которой его напечатали. У левого локтя несколько небольших перевязанных шнурками стопок, на каждой красной ручкой нацарапано «ПАРИЖ». Вокруг – страницы, исписанные пером и шариковой ручкой, набранные на пишущей машинке, с карандашными пометками на полях, распечатанные на компьютере с двойным интервалом, покрытые пятнами кофе, смятые, матовые и глянцевые, сложенные пополам, соединённые скрепками и разрозненные. Незаконченные рассказы, эссе, синопсисы романов, наброски пьес, записные книжки в обложках, истёртых от долгой жизни в карманах пиджаков, и множество писем.

Ему пришлось сдвинуть журнальный столик, чтобы освободить место.

Лето, вечер, год его пятидесятилетия. В городе жара. Из распахнутых окон летят крики детей, велосипедные звонки, незнакомая мелодия и скрежет трамвая, сворачивающего на Карл-Юхансгатан. В парке напротив загорают люди, неподвижные, как осевшие на мелководье белые тюлени. Мартину захотелось вдруг крикнуть им что-нибудь в окно, но все звуки как будто застряли в горле. По телу мурашки, в животе засасывающая воронка, потные руки дрожат.

Он на перепутье, история меняет маршрут. Лишнее время между двумя важными событиями. То, что нужно перепрыгнуть, чтобы текст не забуксовал. Сделать ничего нельзя – только ждать. Возвращения детей. Похорон. Решения. Внезапное желание взять красную ручку и всё перечеркнуть. К чертям собачьим. Редактор Раймонда Карвера убил огромные куски в «О чём мы говорим, когда говорим о любви», выбросил большинство концовок – счастливых, – и в итоге получилось прекрасно.

Может, стоит попробовать стать нормальным. Встретить кого-нибудь, не забывать о еде, ходить на работу всего на несколько часов. Он всё ещё издатель, а издателю Мартину Бергу всегда найдётся чем заняться. Но вместо этого Мартин Берг собирает бумаги. Он много времени провёл на чердаке, заваленном под завязку: зимние детские куртки, велосипед без цепи, старый скейтборд Элиса, выпускное платье Ракели в прозаическом чехле из пластика, рюкзаки, палатка, афиши, которые приходилось разворачивать, чтобы понять, почему их сохранили. И старые шиповки Сесилии. Сколько пар обуви она износила и почему не выбросила эти? Мартин перебирал старые вещи, по спине и ногам стекал пот, потому что под крышей было настоящее пекло. Но в конце концов он нашёл коробку, на которой его собственным почерком было выведено «Мартин, пиши».

Он потерял счёт времени, пытаясь распутать нить, уводящую его нынешнего к некоей точке отсчёта. В какой-то момент он должен был оказаться у развилки, но он так долго просто шёл куда глаза глядят, вообще не думая о направлении. Когда это изменилось? Потому что это

точно уже изменилось. Дети совершеннолетние, оба. И впервые за несколько десятилетий он ни за кого не отвечает.

Элис, маленький Элис, он сейчас путешествует по Европе... слава богу, вместе с сестрой... наверное, потом сразу уедет из дома. Он уже посматривает за горизонт, и рано или поздно Мартин увидит, как сын собирает свои жилетки и отправляется в коммуну на Хисингене <sup>1</sup>, где, полуприкрыв глаза, будет слушать Жака Бреля и спокойно курить. Вот тогда-то пустота и наступит. И это будет конец.

Чисто рационально, размышлял Мартин, лёжа на ковре и подозревая, что в сложившихся обстоятельствах только рациональность ему и остаётся, – чисто рационально он понимал, что происходящее есть часть процесса. Дети вырастают, это житейская неизбежность, одна из многих. Тридцать лет назад он и сам поступил так же, и причёска при этом у него была ещё хуже. Всё верно. Он просто не готов к тому, что это случится так быстро. И не до конца представляет последствий – опустошённости и одиночества, расплзающегося по комнатам и заполняющего всё вокруг; себя – сидящего, с тонкими ногами и слабеющим слухом; он не думал, что годы просто будут исчезать, ничего не оставляя взамен.

И что однажды всё закончится. *И останется груда бумаги.*

Мартин закрыл глаза и представил Густава Беккера – хотя он и не должен был думать о нём так часто. Но всё же он снова воочию увидел, как Густав смеётся, как тонкими пальцами берёт сигарету и не сводит с тебя взгляда, даже если ты уже смотришь в сторону.

Мартин посмотрел направо (листы бумаги), налево (листы бумаги) – вверх, на потолок. Белый, девственный, неисписанный!

---

<sup>1</sup> Остров в проливе Каттегат, район Гётеборга. – Здесь и далее примечания переводчика.

## Часть 1. Александрийская библиотека

### 1

К жизни его вернул будильник. Март, на улице в это время ещё не видно ни зги.

Привстав, Мартин зажёл ночник и отключил звук. На экране мобильного загорелся значок эсэмэс, сообщение отправил сын в 03:51. «*Скоро буду. P. S. Никаких нежностей*».

Мартин вздохнул. Элис отмечал приближающийся день рождения в джаз-клубе, который, видимо, больше не был пристанищем для любителей невинных танцев, и, возвращаясь из кабака домой, сын, вероятно, счёл необходимым напомнить, что никаких поздравлений слышать не хочет.

По пути в ванную Мартин постучался к Элису, но получил в ответ лишь приглушённое ворчание.

– С днём рождения! – произнёс Мартин.

Он включил кофеварку. Принёс из прихожей лежавшие на полу газеты. Поджарил хлеб и сварил яйцо. Он ещё не добрался до раздела культуры, когда на кухне появился его младший. Прошёл напрямик к раковине, налил воды и залпом выпил.

За последнее время Элис очень вырос, узкое лицо и светлые кудри всё сильнее подчёркивали сходство с матерью. Вкладом Мартина в генетический код Элиса стали карие глаза и, как утверждал Густав, склонность обижаться, делая при этом вид, что ничуть не обижен.

– Весело вчера было?

Элис кивнул и выпил ещё один стакан воды.

– Подарки хочешь сейчас или потом?

Сын немного подумал, а потом его грудь забила от подступающей рвоты.

– Потом, – сдавленно проговорил он и бросился к туалету.

\* \* \*

Мартин выпил остатки кофе и пошёл одеваться. Отражения в зеркале гардеробной он избегал. Он хорошо представлял, как выглядит. Волосы на груди начали сесть. Тощие икры, узловатые колени. Тренировки три раза в неделю в самом дорогом спортклубе Гётеборга не помогали. Это были лишь тщетные попытки отодвинуть неизбежное. Тело его предало: притворялось, что всё как обычно, но на самом деле уже отдало себя на волю старости. Шаг за шагом она подступала всё ближе, пока его увлекало другое. Раньше не было ничего неестественного в том, чтобы ежедневно после обеда пребывать в опьянении разной степени тяжести, курить сигарету за сигаретой, а проснувшись утром, обнаружить, что скоро начнётся Гётеборгский полумарафон, куда ты шулки ради даже записался, найти кроссовки и пробегать два часа. Он был уверен, что именно так и работает организм, и это притупляло бдительность. И вдруг ты начинаешь убывать, по чуть-чуть, и сначала этого даже не замечаешь.

Чёрные брюки, чёрный пиджак. Мартин Берг всегда одевался так, словно шёл за отпущением грехов.

\* \* \*

Как обычно, первым делом он отправился в издательство.

Мартин любил смотреть, как под мерцание ламп пробуждался и разворачивался новый день.

В центре его монитора висел стикер: «ПОМЕЩЕНИЕ ЮБИЛЕЙ 25 – ЗАЛ “ФРИ-ЛАГРЕТ” ОК???» Округлый красивый почерк практикантки Патрисии. Он вспомнил, что не ответил на один мейл и переместил стикер на край экрана, где уже висело множество напоминаний о том, чем он собирался заняться, когда подойдёт срок или возникнет острая необходимость. Похоже, сколько бы он ни работал, количество дел, которые надо выполнить *сейчас*, величина постоянная. Но двадцатипятилетний юбилей наступит не раньше июня.

Поглаживая лоб кончиками пальцев, Мартин слушал, как урчит жёсткий диск загружающегося компьютера. У Элиса сегодня экзамен по французскому. Видимо, он подготовился, когда стоял в очереди желающих попасть в джаз-клуб.

Оценки сына нельзя было назвать ни блестящими, ни реально плохими – именно это и огорчало. Будь они действительно низкими, этого нельзя было бы отрицать. Но они не поднимались выше меридиана посредственности, потому что в какой-то момент Элис всегда уставал. Он откладывал ручку и начинал смотреть в окно, вместо того чтобы лишний раз перепроверить ответы. Когда от него требовалось поднапрячься ещё немного, он вздыхал с мученическим выражением лица – словно его попросили достать Луну или приручить белого медведя – и отвечал: да, хорошо, я всё сделаю *потом*. И Мартин автоматически повышал голос, говорил о рынке труда и высшем образовании, и о том, что бог его знает, что теперь будет, особенно учитывая, что Бьёрклунду позволяют все его глупости. Необходимости объяснять подобное Ракели не возникало никогда. Она всегда получала самые высокие оценки по всем предметам.

Входная дверь снова хлопнула, и раздались быстрые шаги.

– Утро доброе! – громко объявил Пер в своей обычной манере – как будто именно это он и имел в виду. Мартину пришлось изобразить некое подобие энтузиазма, когда через несколько минут его партнёр появился в комнате с двумя чашками кофе. Пер Андрен, в пиджаке оттенка «бычья кровь» и светло-розовой рубашке, безнадёжный жаворонок.

– Друг мой, почему ты так мрачен? Ты только посмотри, что мы получили вчера! – произнёс он, протягивая книгу. – Ну разве она не прекрасна?!

Не так давно они вдруг решили переиздать дневники Людвиг Витгенштейна. Последний тираж ещё не был распродан, но к концу года в другом издательстве готовилась подробная биография Витгенштейна на шведском, которая, судя по всему, должна вызвать всплеск интереса к австрийскому философу. Для нового вступительного слова они привлекли эксперта по истории идей из Университета Сёдертёрна.

– Она восхитительна, – согласился Мартин. В твёрдом переплёте, тяжёлая, красивая, с шёлковым ляссе и широкими полями. Он открыл книгу, погладил желтоватую, без грамма древесной массы бумагу, но не прочёл ни строчки. Последнюю правку перед запуском в печать он тоже не просматривал.

Пер просто сиял:

– Амир отлично поработал со старым вариантом. Ты должен ему сказать.

– Подозреваю, что ты уже это сделал.

– Он хотел бы услышать это от тебя.

– Думаешь? – рассмеялся Мартин.

– Молодых больше всего интересует твоё мнение. И, кстати, влей уже в себя этот кофе, чтобы проснуться до того, как подтянутся все остальные.

Лет тридцать назад Мартин наверняка бы очень встревожился, узнай он, что именно Пер Андрен станет тем, с кем он будет общаться больше всего во взрослой жизни. Познакомились они ещё в нежной юности, оказавшись самыми неумелыми членами одной рок-группы. Мартин отчаянно рвался в гитаристы, и это его упорство долгое время успешно камуфлировало недостаточную музыкальность. Пер был менее уверен в себе. Скрючившись над бас-гитарой



так, что видна была только его безнадежно непанковская шевелюра, он потел и старался изо всех сил, изредка обращая к приятелям круглое лицо, на котором застывало выражение полной растерянности. Кожа на пальцах правой руки у него так и не загрубела, он всё время мучился от волдырей. Но он по несколько раз перечитывал каждый номер «Крис», следил за шведскими книжными новинками, и к тому же происходил из семьи предпринимателей в третьем поколении. Издательство, естественно, было его идеей. Без него Мартин, возможно, вообще бы до этого не додумался.

Пер с женой постоянно приглашали Мартина домой на ужин, причём в последние годы всё чаще и чаще. Всякий раз предполагался неформальный вечер, экспромт – не заглянешь на огонёк в субботу? На деле же «огонёк» превращался в трепещущее пламя свечей, три блюда, компанию из нескольких человек и более или менее интеллектуальные разговоры под портвейн двадцатипятилетней выдержки, купленный на маленькой винодельне в Порто, куда прошлым летом супруги Андрен свозили своих на редкость стговорчивых детей. Мартин давно заметил, что они исправно приглашают какую-нибудь одинокую даму социально приемлемого возраста. Хотя он предпочитал говорить *свободную*. Слово *одинокая* звучало слишком жалко и отдавало неловкой попыткой скрыть отчаяние. Но семейное положение легко читалось между строк: «Обычно мы с бывшим мужем...», «...а когда мы с моим бывшим жили в Брэнне...».

Сам он всегда называл Сесилию Сесилией. А как иначе? А Пер всегда бросал на него печальный взгляд с другого конца стола.

Пришли остальные сотрудники. Сначала практикантка Патрисия, которая ежедневно протирала пыль с монитора, да и вообще содержала свой письменный стол в таком порядке, что закрадывались подозрения, будто ей нечего делать. Но она отлично справлялась с набором текста и корректурой, замечала все огрехи вёрстки и пунктуационные ошибки, а решение любой житейской проблемы начинала с составления документа в экселе. Мартин разгадал её только тогда, когда девушка призналась, что первым сильным читательским впечатлением для неё стал «Грозовой перевал». Она, конечно, не Кэти и никогда не выберет никого похожего на Хитклиффа, подумал Мартин. Но в этом стремящемся всё упорядочить существе есть нечто, жаждущее надлома, безумия – всего того, чем пропитан роман Бронте.

Потом примчалась Санна. Она работала редактором ещё с тех времён, когда они сидели в здании фабрики, где стояли стационарные телефоны и разрешалось курить в помещении. Санна крикнула «привет» всем и каждому, швырнула на стул коврик для йоги, переобулась в тапочки и, насыпав в тарелку хлопья, принялась поглощать их над кухонной столешницей.

Когда Мартин подошёл, чтобы налить себе кофе, Санна, закрыв ногой дверцу посудомоечной машины, сообщила:

- Я прочла рукопись Карин, она *очень* большая.
- Я говорил ей, что нужно немного сократить.
- Да какое «немного»? Думаю, там надо урезать процентов на двадцать пять! Она обидится?

Мартин задумался:

- Да, риск есть. Потом посмотрим.

Санна вздохнула, выбрала самую большую чашку и налила себе кофе.

Вернувшись к себе в кабинет, Мартин занялся поисками первого издания дневников Витгенштейна. Издательство «Берг & Андрен» выпускало около двадцати наименований в год, и на полках уже не хватало места. Балансируя на мягком кресле, он нашёл книгу на самом верху – пыльную, немного выгоревшую, но в остальном на удивление хорошо сохранившуюся, хотя они и издали её ещё в 1988-м с минимальным бюджетом. Клеёный корешок, дешёвая бумага и тем не менее благородная элегантность. Обложка глубокого каштанового цвета, название и автор чёрными буквами. На обложке значилось, что перевод выполнен аспиранткой кафедры

истории идей и методологии науки Гётеборгского университета Сесилией Берг (род. 1963). В новом издании будет просто: *Перевод Сесилии Берг*.

– Амир! – громко окликнул Мартин, увидев, что молодой человек направляется на кухню. Амир резко остановился. Рубашка застёгнута на все пуговицы, а волосы торчат в разные стороны. Если Мартин правильно расшифровал личность их менеджера по производству, то тот явился на работу, не успев толком проснуться.

– Отлично сработано с Витгенштейном!

Плечи Амира распрямились, лицо озарилось улыбкой.

– Вы так считаете?

Немного старше его дочери, ближе к тридцати, чем к двадцати пяти. Начал карьеру как стажёр, в первый же день откровенно ужаснулся, зайдя на их сайт: «Когда вы в последний раз обновлялись? Вы шутите?» И решил вопрос в своей привычной манере: надел наушники, не пропускавшие ни звука, уставился в монитор и начал безостановочно стучать по клавиатуре. Когда практика закончилась, Пер был уверен, что без Амира ничего больше работать не сможет, поэтому его приняли в штат и купили дико дорогой компьютер.

Мартин кивнул. Амир поблагодарил его и продолжил путь.

День прошёл как обычно: горы писем, телефонные звонки, кофе, совещания и решение рабочих вопросов. После обеда он назначил встречу с одной писательницей, чтобы обсудить её недописанный роман. Дебютная книга получила хорошие рецензии и удостоилась премии, но теперь автора бросало из одной крайности в другую, парализовывала необходимость продолжения. Мартин собирался сказать ей, что всё это не *так* важно – первая книга продаётся хорошо, на складе есть ещё несколько коробок покетов, – хотя эти слова вполне могли вызвать и противоположную реакцию. Мартин по собственному опыту знал, что воспитательная стратегия, чередующая доброту и строгость, эффективна и для детей, и для творческих личностей, но нужные слова важно говорить в нужное время. Лиза Экман, не сняв куртки, сидела на самом краю дивана и, рассказывая о своём новом проекте, беспрерывно копалась в коробочке со снюсом.

– В общем, речь о девушке, которая поступает в народную школу, – начала она, глядя на огромную картину с видом Парижа, написанную Густавом. – Она как бы попадает туда неожиданно для себя самой и там знакомится с парнем и девушкой. Получается очень трагический любовный треугольник, но я не знаю, как это всё закончить. То есть у меня несколько идей. Думаю, к лету я всё допишу.

– Это очень интересно, – доброжелательно произнёс Мартин. – Присылайте, когда текст будет более или менее готов, и мы всё обсудим.

Потом он ходил взад-вперёд по кабинету Пера, обсуждая книгу об арт-рынке восьмидесятых. Они собирались дать на обложке «Умирающего денди» Дарделя, но в «Натюр & Культур» должна выйти биография художника, где эта картина тоже будет на обложке. Пер предполагал бы какую-то из работ Густава, ведь его прорыв тоже так или иначе связан с этим пузырьком на рынке искусства. Сама по себе идея звучала неплохо. Но Густаву могло не понравиться то, что его ставят рядом с «рынком», о чём он, разумеется, поначалу не скажет. Он согласится, потому что его попросит Мартин. А потом расстроится и больше не сможет молчать. Его придётся хватать за плечи, трясти и говорить, что это всего лишь чёртова книга, и если он не хотел помещать на обложке свою картину, он, чёрт возьми, должен был сказать!

– Но с тем же успехом он может разозлиться, если мы ему *не* предложим, – вздохнул Мартин. – Ладно, ещё вернёмся к этому. Мне нужно в Салухаллен <sup>2</sup>. У Элиса день рождения, и он захотел котлеты из ягнёнка.

– А разве он не стал вегетарианцем? – спросил Пер.

---

<sup>2</sup> Салухаллен – известный рынок в Гётеборге.

– Видимо, ягнятина идёт у него отдельной статьёй.

На улице ещё не стемнело. Мартин не мог припомнить, когда в последний раз уходил с работы при свете дня.

Собирая вещи, он посмотрел на стопку книг, которые привёз с Лондонской ярмарки. Английские и французские он посмотрит сам, но тот немецкий роман нужно кому-нибудь показать. Он подумал о дочери. Возможно, Ракель найдёт время прочесть.

Книга лежала на самом верху стопки. *Ein Jahr der Liebe* – несмотря на скудные познания в немецком, дешифровать слова ему удалось: «Год любви». Так себе название. Но с немецким издателем Ульрикой Аккерманн он знаком много лет, а она с несвойственной ей настойчивостью повторяла, что это «очень хороший роман, который наверняка вам подойдёт». Осталось в этом убедиться. Меньше двухсот страниц. За две-три недели Ракель должна справиться.

Не понимая ни слова, Мартин пробежал глазами несколько строк, и в ушах у него зазвучал голос Сесилии.

## 2

Гул в Салухаллене поднимался до сводчатого потолка. Расстёгнутые пальто и куртки, снятые шарфы, перчатки, зажатые в руке во время разговора с продавцом через прилавок. Мартин ждал, пока ему нарубят мясо, когда краем глаза заметил женщину. Тот же рост, стрижка паж, волнистые волосы. Мгновение – и он чуть не рванул за ней следом. *Это же...*

Нет, велел себе Мартин. Этого не может быть. Он слегка потряс ногами поочерёдно, будто возвращая себе способность ими управлять. Сейчас она повернётся, и всякое сходство исчезнет. Смотри же, она оглядывается...

Разумеется, он видел это лицо впервые. Острый взгляд и чёткие линии ложбинки между носом и верхней губой. Замшевые перчатки цвета морской волны, сумка на сгибе локтя, сейчас она придёт домой к семье, в Аским или Билльдааль, усядется с бокалом вина, раздражаясь на мужа, который будет суетиться на кухне и вечно чем-то стучать, хлопать, и неважно, что она много раз объясняла ему, что её уши этого не выдерживают и что ей попросту больно... а потом она спросит у детей, как в школе, и не услышит ни слова из того, что те скажут в ответ.

Они встретились взглядами, и он тут же посмотрел в сторону, как будто просто изучал помещение, задержавшись пару секунд на ней. Взял свою ягнятину и поспешил к выходу.

Солнце спустилось. Мартин стоял в потоке света, щурясь, пока пульс снова не стал ровным. Он пойдёт домой пешком. Обычно это помогает.

Каналы покрывал толстый слой льда, по улицам гулял пронизывающий ветер. На перекрёстках и в парках лежали кучи грязного снега. Деревья расчерчивали бледно-голубое небо голыми ветками. Мартин прошёл мимо «Хагабадет»<sup>3</sup>, где регулярно занимался, строго соблюдая все выставленные на тренажёрах программы. Каждый раз, открывая дверь, он вспоминал, как выглядело это построенное в девятнадцатом веке здание до того, как здесь устроили спа и спортзал, и думал, что прикасается к талисману. Когда-то здесь располагалась одна сомнительная контора, занимавшаяся грамзаписью, попасть к ним можно было только окольными путями через задний двор, его тогда потащил с собой Густав, который хотел занять денег у какого-то знакомого. Ради приличия им пришлось там немного задержаться, одобрительно покивать, прослушав диск с какой-то резкой электронной музыкой, и выпить вермут из пластиковых стаканчиков. Бассейны в банях тогда были пустые, в них иногда устраивали импровизированные спектакли, и эхо гоняло звуки между облицованными кафелем стенами.

Сейчас дворы «Хаги» запираются и их регулярно убирают. По брусчатке фланируют дети в полосатых свитерах, воскресные гуляки и туристы, поглощающие огромные булочки с корицей. В «Спрэнгуллене»<sup>4</sup> теперь университет, а не подпольный клуб. Единственный его приятель, который по-прежнему жил здесь, завязал с травкой и стал архитектором. А в «Хагабадет» теперь ходил только Мартин Берг и те, кто может заплатить тысячу семьсот в месяц за то, чтобы бегать на беговой дорожке. Поначалу он чувствовал себя голым дураком в тайтсах и футболке из синтетики, которая якобы отводит влагу (куда?). Его кроссовки были чистыми и новыми, потому что он никогда не ходил в них по улице. Он старался не думать о том, что по этому поводу сказало бы его двадцатипятилетнее «я». Но со временем он начал видеть в этом красоту. Всё это немногим отличалось от работы. Тут действовали те же принципы: ты прикладываешь определённое усилие –  $x$ . Оно генерирует определённый результат –  $y$ . Иногда  $y$  означает просто сохранение *status quo* – ты не набираешь вес, оборот предприятия не уменьшается. Превратить  $y$  в константу порой нелегко. Константа  $y$  — это уже неплохо. Для увеличения  $y$  нужно увеличивать  $x$ . Причём связь между ними отнюдь не прямая, что очень

<sup>3</sup> «Хагабадет» – спортивный клуб и спа-центр в Гётеборге, бывшие общественные бани.

<sup>4</sup> «Спрэнгуллен» – осн. в 1974 году, известный досуговый центр в Гётеборге, место встречи музыкантов.

раздражает. Вне стен «Хагабадет» можно сколько угодно наращивать *x*, но никакого влияния на *y* это не окажет. А в спортзале связь между *x* и *y* более линейна. Тридцать минут на кросс-тренажёре напрямую влияют на твою физиологию. За этот факт можно держаться, поскольку во всех прочих аспектах существования такое встречается всё реже и реже.

А в конце ты всегда чувствуешь приятную усталость. И читаешь, пока в десять не возвращается сын, хлопая дверью и едва кивая. Ты достаточно устал, чтобы не ввязываться ни в какие дискуссии, ты просто мельком отмечаешь, что он разогрел в микроволновке лазанью и ушёл с ней к себе. Ты достаточно устал, чтобы погасить свет и уснуть. Достаточно устал, чтобы провалиться в наркотическую темноту, пока звонок будильника снова не извлечёт тебя на поверхность.

От холодного воздуха в голове у Мартина прояснилось. Ему всегда нравилось ходить пешком. Он всё время гулял по Парижу, пока не начал ориентироваться без карты, а по Гётеборгу наверняка намотал в общей сложности тысячи миль. Но несмотря на это, была одна улица, которую он предпочитал избегать.

Кастелльгатан находилась, собственно, в самом центре его маршрутов. Он каждый день проходил через площадь Йернторгет. Часто шёл по Линнейгатан и возвращался по Овре Хусар. Иногда он перемещался между этими улицами, скажем, по Рисосгатан или Майорсгатан, но на Кастелльгатан не попадал никогда. Так продолжалось больше десяти лет, с единственным ярчайшим исключением – когда он очутился у Сесилии в её старой однокомнатной квартире.

Это случилось довольно давно, он встречался с милой девушкой – графическим дизайнером, и она исправно брала его с собой на показы квартир, видимо, демонстрируя этим собственную независимость.

– Я собираюсь купить квартиру, – сообщила она однажды, и Мартин не понял, был ли в этом ещё какой-то подтекст. Так или иначе, у квартир всегда имелся какой-то изъян. То первый этаж, то кухня в тёмно-зелёном кафеле. То слишком дорогая, то слишком маленькая, то слишком новая. Пока она обсуждала с маклером замену стояка и ремонт балкона, Мартин блуждал по очередному жилищу, прибранному так, что складывалось впечатление, будто здесь живут понарошку, – и развлекался, пытаясь понять алгоритм этих показов.

В кухне всенепременно имелись свежие пряные травы в горшочках, с ценником на дне. На диване набор декоративных подушек. На полочке в ванной горела чайная свечка.

По сути, это всегда была бессмысленная трата времени, и, как следствие, он чуть было не отказался пойти именно на *тот* показ. Но он всё-таки пошёл, потому что одно «нет» потянуло бы за собой массу других «нет».

– Вот ты где! – воскликнула его подруга графический дизайнер – её звали Мимми, – встретив его на Скансторгет и быстро поцеловав в щеку. – Я только проверю номер.

Она копалась в своей сумке, а Мартин вдруг почувствовал спокойную уверенность. *Это будет номер 11.*

– Одиннадцатый! – сказала Мимми и потянула его за собой.

– С чего ты взял? Это же не один из тех домов, у которых проседает фундамент.

Они поднялись по винтовой лестнице, крутой, как панцирь улитки. На каждом из шести этажей было по три двери. Шанс один к восемнадцати. Пульс участился, когда Мартин словно издали услышал голос Мимми:

– Похоже, это на самом верху.

Они поднялись на последнюю лестничную площадку. Дверь в квартиру Сесилии была распахнута. Её подпирала вывеска риелторской фирмы и ведро с голубыми бахилами. На пороге появился молодой человек в костюме из полиэстера, протянул руку для рукопожатия, и пока Мимми обменивалась с ним дежурными фразами, Мартин вошёл внутрь.



В прихожей точечные светильники, вместо потёртого линолеума – напольная плитка. Мартин приоткрыл дверь в туалет и, разумеется, не увидел ни треснувшей раковины, ни висевшего на крючке портрета Хайле Селассие <sup>5</sup> в окружении львов. Белый кафель, и ничего больше. На кухонной столешнице блюдо с лаймами. Отполированный до блеска паркет и свежекрашенные стены. На кровати гора декоративных подушек и длинный белый диван вдоль той стены, где стояли книжные стеллажи Сесилии. Но вид из окна – вид возвращал в прошлое. Жестяные крыши, дымоходы, Скансен Кронан <sup>6</sup>, река и башенные краны.

Он стоял у окна, пока Мимми зорким взглядом оценивала плитку и шпингалеты. Через несколько недель она бросила его, мотивировав это тем, что обручальное кольцо, которое он так и не снял, кажется ей чем-то «совершенно нездоровым»:

– Мой психотерапевт говорит, что мне нужно чётче *определять границы* допустимого для меня самой.

А Мартин подумал: «Всё это просто отнимало массу времени».

---

<sup>5</sup> Хайле Селассие – последний император Эфиопии, представитель династии потомков царя Соломона. Символом Соломоновой династии эфиопских правителей был Лев Иудей, изображавшийся на государственном флаге с 1897 по 1974 год.

<sup>6</sup> Скансен Кронан – крепость XVII века в Гётеборге.

### 3

Придя домой, Мартин обнаружил дочь на кухне. Поставив локти на стол и подперев одной рукой подбородок, Ракель склонилась над книгой и провалилась в чтение так глубоко, что не заметила, как кто-то вошёл. Сесилия была такой же. Они будто отключали какую-то кнопку. Ничего не слышали, ничего не видели. Совершенно непонятно, что с ними происходило. Когда Ракель была маленькой, её надо было звать несколько раз, повышая голос, пока она наконец не реагировала – смотрела с удивлением и делала то, о чём её просили: убирала игрушки или заправляла постель.

Сейчас она быстро оглянулась и предложила помочь приготовить ужин.

– Нет никакой спешки, – сказал он. – Что ты читаешь? Фрейд? «По ту сторону принципа удовольствия»? О господи! Надеюсь, это по программе?

Ракель отложила книгу в сторону, но оставила открытой.

– Мне кажется или в твоём голосе скепсис? – спросила она.

– Никакого скепсиса, – ответил он, выкладывая в раковину картофель. Но надо признать: пару лет назад, когда Ракель решительно настроилась на психологию, он удивился, вернее, даже засомневался. Дело было не в качестве образования – он понимал, что поступить туда так же сложно, как на медицинский или юридический, – его расстроило то, что дочь никак не собиралась использовать свои лингвистические и литературные способности. Столько времени потратить на изучение немецкого и не найти этим знаниям никакого другого применения, кроме как чтение измышлений старого мозгоправа?

Мартин полагал, что годы в Берлине сориентируют Ракель в сторону литературы и издательского дела. Он мог бы устроить её к Ульрике, если ей так важно жить в Германии. Но деятельность «Берг & Андрен» Ракель не увлекала, хотя она периодически и соглашалась поработать рецензентом. Вот бы *у него* были такие возможности в двадцать четыре года! Вот бы Аббе был издателем, а не списанным моряком, вот бы Мартин мог сразу оказаться в мире интеллектуальной элиты...

– Ты чем-то недоволен?

– Да, тут слишком много зелёных картошек... Кстати, у меня есть кое-что для тебя. – Он вытер руки и сходил за немецким романом. – Возможно, мы захотим это перевести. Можешь прочесть и поделиться мнением?

– Не уверена, что мне хватит времени, – ответила она, просматривая аннотацию.

– Это не срочно.

Что было не совсем правдой. Он знает Ульрику Аккерманн, она тянуть не станет и вскоре спросит об их решении, и нужно будет сообщить, заинтересованы они или нет.

– У меня сейчас завал с учёбой. Надо написать эссе об этом, – Ракель кивнула в сторону Фрейда.

Мартин смотрел на её руки, листавшие книгу, – узкие, с длинными пальцами, в точности как у Сесилии. В остальном она больше была похожа на него.

– По ту сторону принципа удовольствия, – усмехнулся он. – А по ту сторону что-то есть?

– Лишь беспрестанный путь к смерти и тлену вроде бы.

– Обнадёживающие перспективы. Посмотри, там сливки остались?

\* \* \*

После ужина их маленькая компания быстро разошлась в разные стороны. Элис исчез, чтобы ещё раз отметить собственное совершеннолетие. Мартин еле удержался от вертевшихся на языке слов «ты всё отпраздновал вчера», которые были прямым заимствованием из набив-

шего оскомину стариковского шлягера. Биргитта, мать Мартина, много лет назад превратившаяся в бабушку, отказалась вызывать такси, потому что «третий маршрут автобуса шёл ровно куда ей нужно». У Ракели была встреча с друзьями в кинотеатре.

– Разве так поздно ещё идут сеансы?

– Помимо прочего, у них там есть бар, папа.

Эхо голосов, прокатившись по лестнице, оборвалось с хлопком входной двери, после чего наступила полная тишина. Мартин разложил всю оставшуюся еду по пластиковым контейнерам, загрузил посудомоечную машину и вымыл руками то, что в неё не поместилось, налил себе бокал вина и поставил пластинку Билли Холидэй – но, несмотря на всё это, стрелки часов двигались подозрительно медленно.

Можно было посмотреть фильм. Или почитать. Он почувствовал нечто вроде энтузиазма и желания снова заняться проектом «Уильям Уоллес». Стоя в эркере с видом на мощёную дорогу и разноликие дома Алльмэннавэген, Мартин мысленно сформулировал аргументы за то, чтобы переиздать Уильяма Уоллеса в новом переводе. Но Пер начнёт вздыхать и снимать очки, круглые, в черепаховой оправе, которые он купил ещё до того, как круглыми черепаховыми оправками обзавелись все. Даже у Элиса такие были, хотя погрешность его зрения была минимальной и вообще не беспокоила его в том подростковом возрасте, когда носить очки считалось малопривлекательным. А у Пера действительно было плохое зрение, и он всегда снимал очки, когда кого-нибудь критиковал или с кем-нибудь не соглашался.

– Не уверен, что это правильное вложение чисто экономически, – наверняка скажет он.

– Но старые переводы бьют мимо текста...

– Думаешь, если сделать хороший перевод, его начнут читать?

Старая знакомая песня: Мартин за то, что Уоллес забытый гений, Пер за то, что он просто забытый, и точка. Мартин приведёт в пример успешные переиздания давно забытых книг, Пер вспомнит провальные проекты. Мартин скажет, что нельзя допускать, чтобы тобой управляла только жажда прибыли, а Пер процитирует «Убей своих любимых». Возможно, повторит он, *возможно*, действительно есть вероятность, что Уоллес снова обретёт некоторую популярность. Если, скажем, выйдет фильм или что-нибудь в этом духе. Но пока он не более чем писатель Интербеллума, которого затмили Хемингуэй, Фицджеральд и Джойс.

На практике почти все решения, касающиеся выбора издаваемых книг, обычно принимал Мартин, но именно об Уоллесе Пер всегда высказывался с непривычной для него категоричностью.

Так и не придумав, чем заняться, чтобы достаточно утомиться и уснуть, Мартин бесцельно слонялся по квартире. В конце восьмидесятых, когда они с Сесилией здесь поселились, дом на Юргордсгатан служил прибежищем для как минимум двух коммун, а во дворе с вечно разрисованными воротами их соседи благополучно выращивали травку. Потом семейство с нижнего этажа, которое всё время громко ссорилось и устраивало шумные гульбища, уехало ругаться и веселиться в какое-то другое место. А когда дом превратили в кондоминиум, из однокомнатных квартир исчезли все студенты и скользкие личности, вместо них появились стильно постриженные молодые люди, которые не отказывались убирать общие территории. Съехал алкаш со второго этажа, потому что приличные родители из числа жильцов (не Мартин) потребовали принять меры, так как собака алкоголика, плешивая, но в общем безобидная овчарка, «пугала детей». К новому тысячелетию здесь не осталось ни одного пьяного панка, а двор отвоевали детки из «Бюллербю». К Рождеству во всех окнах теперь зажигались звёзды. И ни у кого не было параболической антенны.

Мартин прошёл из кухни в гостиную и из гостиной в прихожую. Дверь в комнату Элиса была приоткрыта. Он распахнул её и слегка помедлил на пороге. Он почти забыл, как здесь всё выглядело, когда это был его кабинет.

Судя по обстановке, комната претерпевала метаморфозу: переход одной стадии жизненного цикла (личинка) в другую (бабочка). На стенах приятного светло-зелёного цвета, который они с Элисом выбирали почти десять лет назад, виднелись «шрамы» от многочисленных плакатов и граффити, Элис увлёкся стрит-артом в старших классах гимназии, что, правда, совсем не соответствовало его душевной организации. Старые поп-музыканты уступили место трубке Магритта и двум киноафишам. Первая – «Жюль и Джим» Трюффо: Жюль и Джим бегут в расстёгнутых пиджаках за героиней Жанны Моро по имени Катрин, у которой нарисованные чёрные усы, а волосы спрятаны под кепку. Вторая – «Трудности перевода» Софии Копполы: утративший иллюзии Билл Мюррей сидит на краешке кровати. *Everybody wants to be found* написано над названием.

Мартин сел на кровать напротив Билла Мюррея. У Элиса всегда царил образцовый порядок. В детстве все его комиксы лежали идеальными стопками, а трансформеры стояли по струнке. И кровать заправлена как в армии. Теперь он с той же тщательностью обращался со своей экипировкой: на стеллаже аккуратными рядами висели рубашки, брюки в стиле 50-х со стрелками, несколько жилеток и пиджак, купленный на «Ибэе» после недели мучительных сомнений, так ни разу и не надетый.

Письменный стол покупали для менее высокого и более субличного человека. Степлер, дырокол, скотч, стакан с карандашами и ручками стоят по стойке смирно вдоль края. Белый слегка заляпанный макбук, а строго под прямым углом к нему стопка книг. Мартин склонил голову, чтобы прочесть фамилии авторов: Артур Рембо и Шарль Бодлер. Вот как! Когда Элис был помладше, он читал только обязательное по программе. «Гарри Поттер» не в счёт, он воспринимался как некое отдельное явление, а не доказательство существования других книг, которые можно читать с интересом. В общем, впервые Мартин удивился – это случилось примерно полгода назад, – когда увидел сына, нахмурившего лоб над «Путешествием на край ночи» и забывшего о том, что держит в руке бутерброд, с которого должен был вот-вот упасть на пол смородиновый джем.

– Вам это задали? – поинтересовался Мартин из-за газеты.

– Ч-т-то? – рассеянно переспросил Элис.

– Селина? – Мартин кивком показал на книгу. Элис был примерно на двадцатой странице из четырёхсот пятидесяти. – Это к какому-то уроку?

– Нет, мне дали почитать.

– Кто?

– Мишель.

Мартин налил кофе. Он должен знать, о ком речь? Ему должно быть стыдно не знать? Для начала, Мишель – это парень или девушка? И какой пол вызывает большую тревогу?

– Кто есть Мишель? – спросил Мартин.

– Приятель. Он изучает литературоведение, – ответил Элис в приступе общительности.

– В университете? – Мартин с трудом представлял подростка Элиса, непринуждённо беседующего с литературоведом, но сын кивнул.

– Я думал, тебе не нравится Селин, – сказал Мартин и снова развернул газету.

– Нет, он классный.

– Но ты говорил, что «Путешествие на край ночи» для тебя «слишком медленно», если я правильно помню.

Элис раздражённо посмотрел на него и с искренним недоумением спросил:

– Что ты имеешь в виду?

Мартин уже собрался напомнить сыну о том, что, будучи доброжелательным и заинтересованным в интеллектуальном развитии ребёнка родителем, он подарил Элису этот роман на шестнадцатилетие. И тот прочёл несколько страниц и вынес свой вердикт. Наверное, пока за такие книги ему лучше не браться, «лучше подождать до тридцати лет или типа того». И если

Элис пойдёт к себе и заглянет на ту богом забытую полку, он найдёт книгу. Первое шведское издание 1971-го (Gebbers), с дарственной надписью на форзаце.

– Ничего, – произнёс он вместо всего этого.

Элис приподнял бровь и вернулся к чтению.

Прежний отвергающий Селина Элис превратился в нынешнего читающего Селина Элиса приблизительно за одну ночь. Сын вдруг начал носить какую-то растянутую, найденную на развалах секонд-хенда кофту и отрастил волосы, которые нимбом увенчали его голову. А однажды из-за закрытой двери донёсся вибрирующий голос бельгийского певца Жака Бреля. На аккаунте «Спотифай» появились новые плейлисты. Серж Генсбур, Франсуаза Арди, Франс Галль, Жюльетт Греко; виниловые хрупкие звуки, раскачивающие воспоминания о парижской осени и бульварах в желтеющих платанах.

И несмотря на всё это, Элис напрочь не желал пользоваться резервуарами отцовских знаний об ушедших европейских писателях. Сын вёл себя так, словно был первым человеком, читающим «Постороннего», словно «Посторонний» – это крутая новая рок-группа, а старшее поколение вообще и Мартин в частности не должны унижаться, притворяясь, будто что-то в этом понимают. (Мартину хотелось спросить: как ты думаешь, почему сингл называется «Killing an Arab»? Но он не был уверен, что Элис слышал The Cure.)

Ирония была в том, что Мишель, это загадочное существо, на которое ссылался Элис, поставило его ровно на те рельсы, куда его хотел отправить и сам Мартин. Элис всячески уворачивался, но бегал по кругу и в итоге вернулся в исходную точку. А французский кирпич «Путешествия на край ночи» взял из рук существа по имени Мишель, только потому что это были именно эти руки.

Мартин наблюдал, как сын продирается сквозь своего Селина, надевает подтяжки и жилетку, сосредоточенно, с отвисшей нижней губой готовится к урокам французского, но, когда он начал покуривать, всё это перестало казаться трогательным.

– Это не мои, – сообщил Элис, когда Мартин предъявил ему пачку «Мальборо лайтс», найденную в кармане его пиджака. – Это Оскара. Он не может хранить их дома, потому что его мать действует в худших традициях гестапо и роется в его вещах. Как, видимо, и некоторые другие родители.

– Ты помнишь, о чём мы договорились?

– Но они не *мои*! Можешь узнать у Оскара. Вот. Позвони. Спроси у него сам. Но ничего не говори его матери, потому что тогда она не оплатит ему курсы вождения.

Мартин посмотрел на Элиса, потом на мобильный в его вытянутой руке и снова на Элиса. И наконец произнёс:

– Это личное дело Оскара. Просто помни наш уговор.

– До того как мне исполнится восемнадцать, я не буду пить, курить, употреблять наркотики, набивать татуировки или ездить на мотоцикле, – произнёс Элис. Как на экзамене, он прикрыл глаза и перечислял заповеди, загибая пальцы.

– Yes. А потом ты станешь совершеннолетним, и я, увы, лишусь права решать за тебя. И смогу лишь надеяться, что к тому времени ты более или менее научишься оценивать риски.

– Бред.

Он подумал: *должны быть правила*. Никто не сможет сказать, что я всё пустил на самотёк. Что я за ними не следил.

Само по себе не страшно, если молодой человек покуривает, напивая на себя берет и мрачную физиономию. («Давай начнём *сначала*», – простонал Густав.) Мартин сам впервые закурил в подростковом возрасте, причём родители даже не пытались ему запрещать. («О господи, – сказал Густав, – это же было в семидесятые. Десятилетие имени горящей сигареты».) И он курил до сорока лет. Решение принималось в два этапа – сначала разумом, потом эмоционально и более резко. Он же всё придумал сам. Решил обзавестись бородой. Взял себя за горло



и бросил, затеял этот мучительный и печальный процесс. Мучительные и печальные процессы его, в общем, никогда не пугали, но чем процесс мучительнее и печальнее, тем выше риск, что бросить не удастся. Единственным человеком, резко и навсегда бросившим курить не по причине беременности или болезни лёгких, была Сесилия.

Мартину казалось, что главная проблема заключалась в том, что молодые не понимают, что могут умереть. Живут иллюзией, будто их время ничем не ограничено. Что с ними ничего не может случиться. Что жизнь будет разворачиваться перед ними красной ковровой дорожкой: добро пожаловать, именно вас мы и ждали, вспышки камер, аплодисменты. А на самом деле сигарета – это маленькая смерть, но поскольку в юном и взорванном гормонами мозгу слова *СМЕРТЬ* не существует, а существует только инстинкт размножения, то нет там и представлений об одинокой равнодушной смерти, что полностью противоположна размножению, – поэтому они не воспринимают табак как разрушительную силу и не понимают, что алкоголь и наркотики – это физическая манифестация неизбежного демонтажа тела, которому предназначен только такой конец. Думают, глупые, что беспечное пьянство, курение и наркотики и есть *жизнь*. И всё новые поколения Джеймсов Динов мчатся навстречу пропасти, веря, что *живут*, хотя в действительности от смерти их отделяет только педаль тормоза.

И в татуировках эта же неосознанность и неумение смотреть вперёд. В чём, размышлял Мартин, смысл метки на теле, которая сохранится навсегда? Какова цель? И, кстати, *продуманная* татуировка может быть ещё хуже какой-нибудь сделанной в случайном порыве безобидной бабочки или китайского иероглифа. Спонтанный идиотизм более простителен, чем убеждённость в том, что в данный момент времени тебе известно нечто такое, что ты обязательно должен передать поздней версии себя самого, и что это знание настолько важно, что ты просто обязан увековечить его на собственной коже. Молодым часто кажется, будто сейчас, в настоящем, они умнее и опытнее, чем когда-либо в прошлом, и это вполне может быть правдой. Но они забывают, что эта вера была с ними всегда, чем, собственно, сами себе и противоречат.

На стене у изголовья кровати Элис повесил фотографию: лёжа на спине на диване, Сесилия читает журнал. На её груди спит младенец, журнал она сложила над ним домиком. Взгляд смотрит в камеру и светится.

Только это не Элис, подумал Мартин. Диван они выбросили в восемьдесят девятом. Этот младенец – Ракель.

Мартин рассматривал чёрно-белое лицо Сесилии. Казалось, она собирается что-то сказать.

Он вышел из комнаты, оставив дверь строго в том же положении, как раньше. Он мог бы позвонить в Стокгольм Густаву. Да, он мог бы съездить в Стокгольм – забронировать билет, уехать завтра утренним поездом и вернуться в воскресенье вечером. Чёрт. Он мог бы задержаться там и до понедельника. Они бы ходили ужинать, пили бы пиво и разговаривали. Там сейчас свежо и холодно.

Густав не ответил, наверняка проводит пятничный вечер вне дома – где-то развлекается. Мобильного у него нет. Мартин оставил сообщение на автоответчике. И остался стоять у окна, глядя на тёмную улицу и парк.

## Базовое образование 1

### I

ЖУРНАЛИСТ [*откашлявшись*]: Итак, Мартин Берг, когда вы решили избрать литературную стезю?

МАРТИН БЕРГ [*откидывается назад в кресле, сцепляет руки и кладёт их на колени*]: Ой – да я не могу сказать, что я это *решил*. Скорее я всегда это знал. В детстве я, кажется, собирался стать пожарным или кем-то в этом духе, но потом у меня был только один путь. То есть вопрос выбора не стоял никогда.

ЖУРНАЛИСТ: Судьба?

МАРТИН БЕРГ: Да. Пожалуй, так.

\* \* \*

Год, когда родился Мартин Берг, выдался богатым на события. В Европе построили стену. Мэрилин Монро умерла на белых простынях и с барбитуратами в крови. В Иерусалиме повесили Эйхмана. Советский Союз провёл испытание ядерного оружия на Новой Земле. Молодая библиотечка Биргитта Берг сидела за кухонным столом в доме по Кеннедигатан и читала в утренней газете статью о кубинском кризисе, а столбик пепла её сигареты всё рос и рос.

Но в ядерной войне тогда никто не погиб. Империалистические страны отказались от своих протекторатов, и появился ряд новых государств. Потная молодёжь на танцплощадках вертелась в новых танцевальных ритмах. На орбиту запустили астронавтов – раз уж бомбить друг друга больше не надо, давайте посоревнуемся хотя бы на предмет господства в космосе.

Гётеборг рос, там, где раньше были луга и лес, возводились новые кварталы. Старое сносили, новое строили – пыль и шум. Беспорядочно расчерченное стрелами башенных кранов небо, грохот и лязг в порту. Корабли, покидающие гавань в сопровождении буксиров, скрывались в море.

Когда сын захныкал, Биргитта вздрогнула, на миг она, кажется, почти забыла о его существовании.

\* \* \*

Отца Мартина окрестили Альбертом, но это имя фигурировало только в официальных бумагах и паспорте моряка. Он был стройным мужчиной среднего роста, кареглазый и темноволосый, с торсом, покрытым татуировками, которые с годами в буквальном смысле позеленели до цвета морской волны. Отец Аббе работал клепальщиком на заводе «Гётаверкен» и умер оттого, что ему на голову упала железная балка. «У трезвого хватило бы ума отпрыгнуть в сторону», – прокомментировала происшествие его жена. Дети остались на её попечении, и когда Аббе исполнилось пятнадцать, он ушёл в море. Несколько лет проработал где придётся, а потом его взяли в «Трансатлантик».

Аббе был неразговорчивым, в шумных компаниях чаще всего сидел с краю и решал кроссворды, скатывая очередной шарик жевательного табака. Он отлично играл во все настольные игры и был хорошим шахматистом. Часто выигрывал в покер, всегда оставаясь равнодушным к собственно результату игры. Книги читал редко, газеты всегда. Именно его звали на

помощь всякий раз, когда требовалось что-нибудь перевести или сформулировать на английском, французском, голландском или немецком. Языками Альберт Берг владел так же ловко, как и орудовал гаечными ключами или отвёртками.

Однажды в конце пятидесятых на танцплощадке в Лисеберге он познакомился с Биргиттой Эрикссон.

Прелюдией появления на свет Мартина стала головокружительная случайность – Аббе вдруг решил пригласить её на танец, Биргитта вдруг согласилась, – даже повзрослев, Мартин не мог думать об этом без трепета. Их судьбы с тем же успехом могли разойтись в разные стороны. Из них могло получиться всё что угодно, но получилась семейная пара.

На фотографиях того времени Биргитта смутно напоминает Эстер Уильямс. Она, без сомнения, была красивой, но никогда не улыбалась как победительница, не бросала через плечо игривые взгляды и не строила глазки, подражая киноактрисам. Выражение её лица было неизменно отсутствующим, словно мысленно она находилась далеко от происходящего (то есть фотографирования), словно оказалась в этом месте совершенно случайно. На поставленном в рамку свадебном снимке, собиравшем пыль на комод в гостиной, она держит охапку роз с таким видом, как будто не знает, что ей делать с цветами. Аббе во взятом напрокат костюме и наглухо застёгнутой рубашке выглядит слегка встревоженным.

Как-то на глобусе, подаренном семилетнему Мартину на Рождество, Аббе показал ему все те места, где он побывал: Антверпен, Гавр, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро. Между крошечной точкой, которую представлял из себя Гётеборг, и огромным четырёхугольником конечного назначения простиралось пугающе огромное море. Мать взяла Мартина с собой в порт посмотреть, как отбывает папино грузовое судно, которое оказалось таким гигантским, что Мартин был уверен: оно обязательно столкнётся с новым мостом. Он цепенел от страха, а оттого, что мать казалась совершенно безучастной, ему становилось только хуже. Но трубы легко проскользнули, не задев мост. Мартин выдохнул и даже не стал возражать, когда по дороге домой мать взяла его за руку.

От слова *Атлантика* веяло и приключениями, и опасностью, а *Тихий океан* звучал гораздо спокойнее. *Северное море* должно быть холодным и штормящим, хотя, с другой стороны, и более близким, и на глобусе оно выглядело достаточно маленьким, суша всегда была неподалёку. Обнадёживали и размеры корабля, пока тётушка Мод не рассказала племяннику о «Титанике», полагая, что тому понравится «интересная история из жизни». С тех пор Мартин с трудом засыпал, представляя айсберги и кораблекрушения и то, как быстро пучина может поглотить огромное судно. Оно потонет, опустившись на тысячеметровую глубину, куда никогда не проникает свет.

Но потом у входной двери раздавались тяжёлые шаги и голоса, звучавшие на более тёмных частотах, чем у других обитателей дома, на комод в прихожей со звоном высыпались монеты (если повезёт, среди них обнаруживались и выделяющиеся по размеру однокроновые с дыркой в середине). Далее следовала неделя или две присутствия Аббе. Он никогда не повышал голос и редко сердился, и всё равно рядом с ним Мартин старался играть потише. Аббе сидел на качающейся скамейке с газетой и пивом. Мартин подсматривал за ним сквозь дыру в изгороди из дальнего угла сада, где ветки сплетались в укрытие.

Долгое время всё так и было: мама, Мартин и отец, иногда появлявшийся и всегда исчезающий снова. Мартин играл с соседскими детьми, учился читать, каждый день ужинал в пять, ложился спать и слушал перед сном сказку, хотя позднее ему пришлось модифицировать понятие «сказка», так как у матери были собственные представления об этом жанре фольклора. Так, несколько ночей Мартину снились кошмары, в которых он, подобно Грегору Замзе, превращался в насекомое, и он долго размышлял над тем, что, собственно, не так с миссис Дюбоз.

Но потом мама начала как-то неловко двигаться и надевать большие незнакомые платья. Однажды вечером отец сообщил, что отныне он будет работать в типографии и каждый день

возвращаться с работы домой. Мама объяснила, что у Мартина появится брат или сестра. Он начал ковырять вилкой репу в тарелке. В субботу пришла тётя Мод, чтобы присмотреть за ним.

– Скоро они вернутся домой вместе с твоей сестричкой, – сказала она, наклонившись к нему со своей зловещей высоты.

Кристина или, как все её называли, Кикки, поначалу не вызвала у него никакого интереса, а потом, когда подросла, она его по большей части раздражала. Сестра вечно увязывалась за Мартином и очень быстро превратилась в шумную, с дёргающейся походкой девчонку, которая часами прыгала на скакалке и играла в классики, обставляла всех в «Твистер» и мастерски выдувала пузыри из жвачки. Она вопила и не хотела учить уроки, зато любила гимнастические кольца, канаты, обожала прыгать через козла и прочие снаряды и часами могла репетировать танцевальные па. Говорила, что Мартин безнадёжный зануда, но когда к нему приходили друзья, пряталась у него в шкафу, а когда её обнаруживали, выбегала оттуда с криком и смехом. Мама Биргитта уверяла, что любит их обоих одинаково, но Мартин часто задумывался, правда ли это. Кикки была не похожа на мать, по характеру сестра больше напоминала тётю Мод.

Мать, единственная в своей семье, продолжила учиться после общеобразовательной школы. Что это значило, Мартин толком не понимал, но это как-то отличало её и от Мод, конторской служащей со скрипучим голосом и следами помады на зубах, и от деда с бабушкой, которые, приезжая на Рождество, отпускали малопонятные шуточки, а потом умерли с разницей меньше года. Мама на похоронах не плакала (в отличие от громко всхлипывавшей Мод), а рассматривала церковные витражи, слегка нахмутив лоб. Каждую неделю они ходили в библиотеку, ели печенье с её коллегами и возвращались домой со связкой книг. Мама складывала свои на прикроватной тумбочке аккуратной стопкой. Когда Мартин возвращался из школы, мама часто читала, сидя за кухонным столом, на котором стояли чашка остывшего кофе и пепельница. При виде Мартина она вздрагивала, спешно надевала на лицо улыбку и ставила на стол тарелки.

Все житейские обязанности Биргитта Берг выполняла с равнодушной обстоятельностью, ничего не выделяя и ничему не придавая особого значения. Она почти никогда не волновалась, и Мартин не помнил, чтобы родители ссорились. Всего несколько раз он видел её удивлённой, в том числе и когда она однажды прочла его школьное сочинение, ему тогда было лет двенадцать-тринадцать. Им задали тему «Мои летние каникулы», и Мартин написал об их семейном ежегодном круизе на катере, который всегда был для него большим испытанием. Он не собирался показывать матери сочинение, просто случайно забыл его на кухонном столе вместе с домашней работой по математике.

– Это очень хорошо написано, – сказала мама с выражением, которое он видел на её лице впервые. – Действительно очень хорошо.

И с зажатой между указательным и средним пальцем сигаретой продолжила читать дальше, не отрывая взгляда.

## II

ЖУРНАЛИСТ: И как всё, собственно, началось?

МАРТИН БЕРГ: На самом деле я не помню. Да, кстати... [*Смеётся.*] Я очень рано приступил к тому, что, по моим предположениям, должно было стать моим дебютным романом. В действительности я понятия не имел, как *писать* книгу. Я много читал, а когда читаешь готовый напечатанный текст, он всегда воспринимается как нечто очевидное, верно? И кажется, что нет ничего проще. И сюжет родится сам по себе. Счастье, что молодые мало понимают, потому что иначе многое так и осталось бы незаписанным...

\* \* \*

Когда главный офис машиностроительного концерна SKF сменил механические печатные машинки на электрические, тётя Мод стащила с работы одну из старых моделей и подарила племяннику. На этом мастодонте в корпусе из серой конторской пластмассы летом 1978-го Мартин отстучал следующие слова:

Как близко можно подойти к духовному преддверию ада в жизни земной.

Потом спустил строку (*удар, звонок/бум, дзынь*), откинулся на спинку стула и зажёл сигарету.

Не будучи заядлым курильщиком, он сразу закашлялся. А после обнаружил, что забыл поставить пепельницу, сходил за ней в спальню родителей и водрузил на самый верх стопки библиотечных книг. Удовлетворённый реквизитом, снова сел за письменный стол и, осторожно затянувшись, сквозь дым посмотрел на белый лист.

Ему скоро шестнадцать, и он впервые в жизни остался летом дома один. Остальные члены семьи ушли на яхте, которую отец купил, когда закончил работать на «Трансатлантик». Так у Бергов проходило каждое лето: перед отпуском надо было всё упаковать, найти спасательные жилеты, купить консервы и батарейки для транзисторного приёмника. А дальше четыре недели в море. Мартина ожидала неминуемая морская болезнь и невозможность блевать, перевесившись через релинг, потому что при виде разверзающейся под ними глубины его мучило ещё сильнее. Целыми днями он завязывал какие-то верёвки, и в любой момент мог прилететь коварный гик, а его младшая сестра прекрасно знала все узлы и к тому же любила морепродукты. Мартин мучился в спасательном жилете и ненавидел купаться в открытом море. Между приступами тошноты он сидел в кубрике и читал припасённые комиксы.

Чтобы избежать всего этого, в тот год он устроился работать на почтовый терминал, а кроме того, родители посчитали, что он уже достаточно взрослый и его можно оставить в городе одного. Он работал четыре ночи в неделю, с рассветом возвращался домой на велосипеде, опускал жалюзи и укладывался в кровать, а перед глазами у него прыгали почтовые индексы. Потом он спал до раннего вечера и пробуждался с солоноватым привкусом во рту и следами от подушки на щеках. Свободное время в пустом доме использовал наилучшим способом: ходил в трусах и футболке, на максимальной громкости слушал The Clash, рискуя взорвать динамики, ужинал бутербродами с сырыми сосисками и устраивал шумные вечеринки. Тётя Мод должна была за ним присматривать, но у неё намечался новый роман, и она появлялась нечасто – оставляла ему алюминиевую форму с каким-нибудь блюдом из духовки, исправно напоминала, что надо мыть посуду, и быстро прощалась, а Мартин видел в окно, как резко рвёт с места её серебристый «сааб».

Мартин с нажимом затушил окурок – он выкурил только половину – и вернулся к листу бумаги, вставленному в пишущую машинку. Этой весной мама принесла из библиотеки «Джека», так как заметила, что эта книга «популярна среди молодёжи». (Пролистав несколько глав, она высказала собственное мнение: «написано небрежно, но не без шарма».) Мартин прочёл роман не отрываясь, после чего несколько дней его мучило доселе неизвестное ему чувство полной опустошённости, и он перечитал книгу ещё раз. В романе всё было так легко и свободно. Мартин шёл по Кунгсладугордсгатан, и под ногами у него качался асфальт, в воздухе был чистый кислород, кровь пульсировала в жилах. Неведомая прежде тоска охватила всё его тело. Через несколько недель пришло само собой разумеющееся решение: он тоже мог бы писать.

Но сейчас ничего не получалось. Его разум оставался таким же чистым, как бумага.



Неудивительно, убеждал себя он. У него же нет опыта. Его нужно получить и задокументировать. Он должен больше встречаться с девушками. Чаше ходить на вечеринки. Уйти из дома и поселиться в каком-нибудь богемном месте. Но где в Гётеборге можно найти аналог домика в Вита Бергет? <sup>7</sup> На Гудземсгатан есть, конечно, дачи, но там, похоже, обитают преимущественно пенсионеры. И к тому же это в двух шагах от дома; всё равно что поставить палатку в собственном дворе.

Зазвонил телефон, и, поскольку уровень писательского мастерства ещё не позволял ему держать аппарат на рабочем столе, Мартину пришлось выйти в холл, чтобы ответить. Звонил Роббан, у него имелась упаковка пива, которую купил его брат, и новый Спрингстин, к нему придёт Сусси и ещё несколько человек, и он спрашивал, не хочет ли и Мартин присоединиться.

– Конечно, – ответил Мартин и ещё немного помял окурки, чтобы убедиться, что он точно погашен. На почте у него два выходных, а если он просидит весь вечер за письменным столом, никаких богемных впечатлений он гарантированно не получит. – Иду.

До того как попробовать алкоголь, Мартин думал, что это вкусно, – и страшно удивился, обнаружив, что всё не так. Это было в восьмом классе. Он зажмурился, глотнул и с нетерпением стал ждать, что произойдёт дальше. Он рассчитывал на немедленный эффект, но ничего особенного не заметил, кроме разве что приятного, как прикосновение хлопчатника, ощущения, которое возникло после того, как он влил в себя всю банку (что-то похожее он переживал в детстве, когда надо было пить лекарство от кашля). Он открыл ещё одну банку и, пока пил, пытался подумать о чём-нибудь другом. Чуть позже Мартин прыгал на диване и что-то орал вместе с пятью товарищами, а потом, когда решил слезть с дивана (привлекаемый, видимо, блюдом с чипсами), ноги его не слушались. Он упал навзничь, но боли не ощутил, наоборот, это было ужасно весело, он встал, но не сам, а с помощью Роббана, который тоже хохотал.

Поначалу для удачного вечера требовалось совсем мало. В принципе, хватало алкоголя. Напиться – в этом и состояла цель. Конечно, он немного огорчился, когда Сусси, пошатываясь, встала, поблагодарила за напитки и медленно потопала вниз по лестнице в своих сабо на деревянной платформе, которые носила не снимая, несмотря на то, что из-за них уже дважды серьёзно подворачивала ногу. Но попробовать смешать колу и водку, послушать имеющиеся у Роббана диски и почитать тексты на обратной стороне конвертов – тоже неплохо.

Таким был и тот летний вечер. Как всегда, встретились у Роббана. Как всегда, послушали его последние пластинки. Как всегда, Роббан трепался о группе, в которой начал играть, и о родес-пиано, которое собирался купить. Как всегда, какие-то друзья Сусси должны были «подойти попозже».

– Ну, и чего ты дуешься, – сказала Сусси, толкнув Мартина локтем.

– М-м.

– Пойдёшь с нами потом?

– А почему бы и нет.

– Почему бы и нет, – передразнила она, потянувшись за сигаретами. Обычно она казалась ему красивой, когда, стряхивая чёлку с глаз и запрокидывая назад голову, прикуривала свои «Вирджиния слимс», – но сейчас этот кадр как будто наложился на её будущий образ. Мягкая линия у шеи станет вторым подбородком, кожа утратит гладкую шелковистость и огрубеет.

Ему захотелось бросить в ответ что-нибудь умное и язвительное, но он ничего не придумал. В голове вертелись мысли о тусовке в каком-нибудь модном месте на Страндвэген или о том, как круто было бы отправиться в Юргорден <sup>8</sup>, прихватив ящик пива (хотя они с классом ездили на экскурсию в столицу, и ни одного богемного типа он там не обнаружил). Люди,

<sup>7</sup> В 70-х в домике, расположенном в стокгольмском районе Вита Бергет, начинал свой творческий путь известный шведский писатель, поэт и музыкант Ульф Лундель.

<sup>8</sup> Юргорден – парк, достопримечательность Стокгольма.

которых Мартин встречал, почти не отличались друг от друга, но он понимал, что они – это *что-то другое*.

Мартин точно знал, что будет дальше: стихийный сбор в Слоттскупен, сознательное накачивание алкоголем до вожаемой стадии, когда ты становишься непобедимым и бессмертным, втроём на одном велосипеде с горки вниз, восторг от внезапной блестящей идеи – залезть на дерево или искупаться в Сэльдаммен, кусты и хихикающая Сусси в обтягивающих джинсах, на которых ты сосредоточен до предела. Всё вибрирует, и нет ничего невозможного, бег куда глаза глядят по футбольному полю, кто быстрее, пока не собьёшь кого-нибудь и вы не свалитесь на землю вместе, задыхаясь от смеха, с огнём в груди. А потом всё переворачивается. Ты крутишь и засовываешь под губу порцию снуса, тебя вращает быстрая карусель. Или зелье наносит коварный удар, бьёт в живот, и внезапно всё снова идёт *вверх*. Кто-то уже уходит, кто-то мочится у входа в подъезд прямо на глазах у полицейского патруля, все ссорятся, Сусси ни с того ни с сего начинает сердиться, собирается уходить и, взяв в руки туфли, бежит босиком по влажной от росы траве.

А Роббан, покачиваясь, говорит «ну погнали тогда в “Слоттис”», и Мартин соглашается. Ну и что, что Сусси садится сзади на велик Роббана, а не к нему. Он смотрит вниз на собственные ноги, которые крутят педали, – с тем же успехом они могут быть чужими, не его. В Азалиадален они встречают знакомых, но кажется, что их смех и голоса звучат не здесь, а где-то далеко.

– Кого ты ищешь? – Сусси плюхается рядом.

– Что?

– Ты кого-то ждёшь или как?

– Кого я жду?

– Чёрт, ну почему ты такой надутый? Ну, не дуйся.

Позже в ту ночь Сусси стала ныть, что хочет увидеть рассвет, и они потащились к Мастхуггсчуркан и, забравшись на стену церковной ограды, заняли наблюдательный пост. Перед ними простирались красные черепичные крыши Майорны<sup>9</sup> и пустые предрассветные улицы. Блестела река, неподвижно стояли портовые краны. В небе кричали чайки. Мартин пристально смотрел на своих спутников. Роббан хочет чего-то добиться, но лишён дисциплинированности. Сусси перемещается по жизни, используя внешность, у неё нет потребности развиваться интеллектуально. Это станет очевидно в следующем году, когда он будет делать за неё уроки и ему придётся имитировать нелогичный и бессвязный ход её мыслей, чтобы внезапное улучшение качества её домашних работ не заставило учителей что-нибудь заподозрить.

– Не используй слова типа «релевантный», – просила Сусси, убирая прядь волос со лба.

Она повторяла, что дико устала от школы и хочет бросить и начать работать, как Роббан, но тот возражал: «Чёрт, Сусси, ты, что, хочешь потратить свои лучшие годы на то, чтобы гнить где-нибудь за кассой? Получи образование и, когда вырастешь, не бери пример с меня», – а Сусси в ответ смеялась и говорила, что он всего на год её старше, а Роббан пытался высчитать, сколько процентов от их жизни составляет этот год, и это занимало их долгое время, на протяжении которого они успевали выкурить все её сигареты.

Небо на востоке порозовеет, и первые, манящие и радостные солнечные лучи вот-вот соберутся пронзить воздух. Сусси, зевая, наденет солнечные очки, вспомнит о своих туфлях и найдёт их. И они втроём медленно пойдут по Банггатам, Сусси слегка прихрамывая, Роббан бесперебойно говоря о клавишнике из The Doors, а Мартин будет просто катить велосипед и думать о другом. Может, он пойдёт домой к Сусси, но она, наверное, будет хлопать глазами и обиженно ворчать, поэтому, пожалуй, нет. И после того как они расстанутся, он, никуда не торопясь, побредёт домой по пустынным улицам.

---

<sup>9</sup> Майорна – жилой район в Гётеборге.

### III

ЖУРНАЛИСТ: Чем именно вас привлекла литература, как вам кажется?

МАРТИН БЕРГ: Подростка всегда тянет туда, где его нет. Хочется бежать прочь. Куда-нибудь. Всё равно куда. Сесть в первый попавшийся автобус и уехать из страны. Но в кармане ни гроша, а на следующей неделе контрольная, и вообще... Но, читая, действительно *можно* убежать.

ЖУРНАЛИСТ: То есть это бегство от реальности?

МАРТИН БЕРГ: Не только. Чтение даёт доступ в другие, отличные от твоего мира. Ты можешь попробовать стать неверным русским аристократом или пьяным почтальоном, который идёт к продажной женщине. Рискнуть и отправиться колесить по Америке автостопом. Ты можешь стать *кем угодно*.

\* \* \*

В первый день учёбы Мартин проснулся задолго до будильника. Рано позавтракал и принял душ (никто это, увы, не прокомментировал, потому что все остальные ещё спали). Надел то, что выбрал заранее: джинсы «Ливайс», футболку и новую, ещё жёсткую джинсовую куртку, неделю назад подаренную ему на день рождения. Если ехать на велосипеде, можно вспотеть, поэтому Мартин предпочёл трамвай.

Он запомнил расположение их классной комнаты, но всё равно заблудился и оказался в коридоре, где у шкафчиков толпились старшекурсники в облаке смеха, восторженных восклицаний и провокационных вскрикиваний. Мартин поступил от противного – спросил дорогу у стайки явно растерянных душ, нашёл свой класс и переступил порог так, словно это было проще простого. Ужасный момент, когда он чуть не опрокинул стул, но никто этого, кажется, не заметил. Обосновавшись на месте, он принялся оценивать будущих одноклассников, стараясь придать взгляду максимальное равнодушие.

Сплошные итоговые пятёрки гарантировали ему поступление в любую гимназию. Отец опустил тяжёлую руку ему на плечо и сказал: «Молодец, парень!» А мама вручила конверт с двумя затёртыми сотенными и «Процесс» Кафки. Мартин зарегистрировался в районе Ланда по адресу тёти Мод, чтобы подать заявление в Витфельдскую гимназию. Он знал о ней не больше, чем о любой другой гимназии, но у этих возвышающихся на холме в Васастане корпусов, окружённых ивами и кустами роз, была особая аура, здесь чувствовалось дыхание истории. Высокие стены, бесконечные ряды окон, длинные коридоры, широкие лестницы, по ступеням которых катается эхо. И Мартин представлял, как в ближайшем будущем будет ходить здесь с толстыми книгами в руках. Он вырос и стал шире в плечах. У него новые кроссовки. На уроках он всё внимательно записывает, но не становится зубрилой. В школьном дворе к нему подходит девушка с размытыми чертами лица...

В центре, у кафедры появилась невысокая женщина в сером костюме, она поглаживала лоб ладонью, жест, явно демонстрирующий раздражение, поправила прядь, выбившуюся из пучка волос, посмотрела на лист бумаги, потом на часы, откашлялась. Эффекта всё это не произвело, шум не утих (неужели здесь все знали друг друга раньше и он единственный новичок?), она снова откашлялась и произнесла:

– Итак...

Женщина представилась: она их классная руководительница и учительница математики:

– Можете называть меня фрекен Гуллберг.

Мел взвизгнул, когда она вывела своё имя на доске ровным учительским почерком, после чего фрекен посмотрела на них так, словно могла невооружённым глазом определить, есть ли в классе светлые головы. Поджатые губы намекали на отсутствие особых надежд.

– Для начала некоторые правила поведения, – объявила она, взяв в руку указку. – Курение в здании запрещено. Курить можно только во дворе. Для мальчиков, употребляющих жевательный табак: вы выбрасываете его только в мусорную корзину, и *никуда* больше! Никакой беготни в коридорах. На занятия не опаздывать. За одно опоздание ставится точка, три точки – это взыскание. Писать и рисовать на партах категорически запрещено. Всё понятно?

– Да, – едва слышно отозвалась какая-то девушка, но фрекен Гуллберг это проигнорировала.

– Давайте по списку. Ален Марита?

В алфавитном порядке Мартин всегда шёл в начале, и по какой-то идиотской причине его сердце вдруг громко забилося. И когда классная с умеренным интересом произнесла «Берг Мартин», он на секунду испугался, что у него пропадёт или – ещё хуже – сорвётся голос. Но, похоже, было достаточно лишь поднять руку, как это только что сделал Андерсон Кеннет.

– Здесь, – произнёс Мартин.

Пока читали список, разочарование Мартина росло. С этими людьми ему предстояло провести следующие три года, у всех чистые волосы и отглаженный воротничок поверх свитера с V-образным вырезом. Впереди сидела довольно красивая девчонка со вздёрнутым носом и тяжёлыми веками, которые придавали лицу мечтательное, почти отсутствующее выражение. Насколько он успел оценить, из всех одноклассниц именно она больше всего подходила на роль той, с кем он должен случайно встретиться в школьном дворе холодным сентябрьским утром, когда к зелени деревьев уже примешана желтизна, но к полудню ещё снова становится тепло, – в любом случае, она кивнёт ему, когда будет идти по двору с книгой (в кожаном переплёте), нежно прижатой к груди...

Она заметила, что Мартин на неё смотрит, и быстро улыбнулась; он улыбнулся в ответ. Он запомнил, что девчонка ответила на имя Кристина.

– Фон Беккер Густав, – произнесла фрекен Гуллберг, и парень на одной из передних парт, покачавшись на стуле, отозвался:

– Просто Беккер.

Хриплый негромкий голос. Мартин видел его обладателя только сзади. Одет в чёрное: джинсы и футболка. Незашнурованные кеды. На спинке стула тёмно-синяя армейская куртка. Бледные руки, шишковатые локти.

Фрекен Гуллберг кивнула и сделала пометку.

Далее последовала общая информация. Учебный план. Расписание. Мартина удивило большое количество «окон», в теории он это слово знал, но на практике никогда раньше не сталкивался. В старших классах школы уроки шли один за другим, как кирпичи в стене. Теперь таблица с расписанием образовывала непредсказуемые орнаменты из темных (свободное время) и светлых (уроки) полей. В четверг они начинали не раньше 09:40, в пятницу заканчивали уже в 14:30. Зато по вторникам занимались до 16:00, но и это казалось экзотикой. Мартин представил, как сидит в классе, погрузившись в книгу, а за окном восемнадцатого, кажется, века садится солнце.

Стулья вокруг вдруг зашкрипели, народ загудел, начал подниматься с мест и тянуться к выходу с нарочитой неспешностью, свойственной людям, которые избирательно подходят к общению, предпочитая одних и избегая других.

Мартин сложил лист бумаги и сунул его в задний карман джинсов. И, не удостоив товарищей взглядом, вышел.

Единственным, кто его отчасти заинтересовал, был этот Густав, но в школьном дворе его вроде бы не видно. Возможно, у него есть друзья, которые хрипло смеются и слушают

музыку, которая не похожа на музыку, и наведываются в Христианию, где покуривают травку и общаются с хозяевами огромных дворняг, чьи беспородные загрызки перевязаны шейными платками. Сам Мартин от курева становится подозрительным и напряжённым, и несмотря на то, что, по официальной версии, он любит панк-рок – они с Роббаном всё время спорили об этом, Мартин обвинял Роббана в пристрастии к Элтону Джону, а Роббан отрицал это слишком рьяно, – но если честно, то «Never Mind the Bollocks» Мартин прослушал максимум три раза и к тому же на небольшой громкости. И всё равно ему нравилось, что этот ядовитый розово-жёлтый диск есть у него на полке, и младшая сестра не может брать его без разрешения.

Сунув руки в карманы, он попытался сделать вид, что кого-то ждёт.

– У тебя есть спички или зажигалка? Мои куда-то делись.

Это был Густав. В кармане у Мартина, к счастью, нашлась «Зиппо», которая вообще-то принадлежала Сусси.

– Конечно, – сказал Мартин. – Стрельнуть можно?

Густав протянул сине-белую пачку с текстом на французском, из которой Мартин выбил одну сигарету.

Вблизи первым делом поражали его глаза. За пошатывавшейся на переносице немодной круглой оправой скрывались тревога и уязвимость. Во вторую очередь обращал на себя внимание его нос – острый, со слегка покрасневшим кончиком. Ассоциации, резко отвернувшись от панк-рока, наркотиков и лающих собак, увели Мартина в девятнадцатый век с его туберкулёзом и игрой на пианино при свечах. Цвет взъерошенных волос можно было назвать «крысинный» или «тёмный блонд» – в зависимости от степени благожелательности. И несмотря на то, что лето выдалось долгим и тёплым, Густав был бледным, *как платок* (то, что бледным можно быть, как платок, Мартин недавно узнал от Толстого). Куртку Густав набросил на плечи, как мантию, хотя было достаточно тепло, чтобы ходить с голыми руками. Мартин же после долгих шатаний по улицам покрылся коричневым загаром, раньше ему это нравилось, но сейчас показалось слишком мирским. Складывалось впечатление, что стоявший рядом юноша не выносит яркий солнечный свет, что его нужно оберегать от душевных потрясений, а время он должен проводить у пюпитра или в каком-нибудь салоне, обставленном мебелью девятнадцатого века. Пальцы, щёлкавшие зажигалкой, были покрыты чернильными пятнами.

– Я не расслышал там твоё имя, – сказал он и протянул руку, – Густав.

– Мартин.

Они пожали руки.

Густав размял сигарету, поправил очки, окинул взглядом школьный двор, после чего уделил несколько секунд пристального внимания шнуркам на своих кедах. Мартин пытался придумать, что бы такого умного сказать, но от усилий мозг, напротив, отказывался соображать – и Мартин просто сделал несколько глубоких затяжек. И, как результат, у него резко закружилась голова.

– Где ты учился раньше? – спросил наконец Густав.

– В Кунгсладугордской школе. В Кунгсладугорде. – Идиот. – А ты?

– В «саме», – ответил Густав и несколько раз кивнул. Мартин не сразу сообразил, что тот имеет в виду частную школу «Самскула». – Ушёл после девятого. Из огня да в полымя. – Он издал смешок и стряхнул пепел указательным пальцем, жест нельзя было назвать иначе как грациозным.

– А что так?

– Да ну. Толпа послушных мальчиков, которые станут либо такими же, как родители, либо такими, какими родители мечтают их видеть. Хотя что это я – может, ты тоже планируешь будущее на отцовском поприще?

– Наоборот, – ответил Мартин, отметив, что при этом он невольно усмехнулся. Густав тут же улыбнулся в ответ. – Впрочем, он бы не огорчился, если бы я завербовался на какое-нибудь грузовое судно.

– Вот как? – Густав был, кажется, впечатлён. – А почему?

– Он был моряком.

– Где? Он умер?

– Нет, он теперь работает в типографии.

Густав рассмеялся, и Мартин тоже. И ровно когда нужно было оборвать смех, чтобы веселее не выглядело глупо, Густав поинтересовался, чем он собирается заниматься, если плыть за семь морей ему не хочется.

– Не знаю, – ответил Мартин. – Возможно, буду писать. Или стану музыкантом.

– Каким музыкантом? На чём ты играешь?

После каждой подробности, которую Мартин сообщал о себе, Густав задавал вопрос. Почему он не выбрал эстетический профиль? («Нет, ну *так* много заниматься музыкой я не хочу».) Что ты хочешь писать? («Что-нибудь в духе “Джека”».) Что он читает? («Как все...») Как было в его старой школе? Он знаком с таким-то? Что он думает о Патти Смит? «Easter»?

– Это очень круто, – сказал Мартин, который на прошлых выходных прослушал «Because the Night» раз двадцать минимум.

– Я был на её концерте, – сообщил Густав. – Это было невероятно...

Пришло время идти в аулу слушать речь директора, и всю дорогу к старым скамьям и потом, когда какой-то человек в сером со сцены требовал тишины, Густав тихо рассказывал о концерте.

И хотя директор говорил скучно и ничего особенного не случилось, Мартин чувствовал, как в нём пульсирует слабый электрический ток. Уверенный и обращённый в будущее ритм, бьющий по венам и мышцам.

\* \* \*

После того как убрали приставку «фон», на переключке Густав шёл перед Мартином.

*Беккер?* Да.

*Берг?* Здесь.

И если Беккер не отзывался, то, по всей вероятности, отсутствовал и Берг. В это время они были заняты чем-то другим. К примеру, разговаривали, расположившись на траве в Васа-паркен, а когда сидеть на траве было холодно, перемещались на скамейку. Или шли в Шиллер-скую гимназию, где у Густава были знакомые, изучавшие живопись и ваяние, и убивали там время, слоняясь по коридорам, заставленным керамикой, которую охраняли более или менее удачные автопортреты. Зимой они начали часто ходить в Хагу. Преимущественно во время «окон» и вечером, но случалось и вместо уроков, присутствовать на которых Густав не мог, поскольку был риск, что он там просто лопнет.

– От скуки, муки и общей бессмысленности.

То, что они вообще ходили на занятия, было, видимо, заслугой Мартина.

– Я никогда не был настолько «присутствующим», – признался Густав ближе к концу осеннего семестра.

– Но разве это не приносит тебе своего рода радость? – спросил Мартин.

– Не знаю...

– Тебя никто не заставляет, – это прозвучало резче, чем Мартину хотелось.

Насколько он понял, хорошие отметки – дело техники. Необязательно *любить* то, чем занимаешься. Главное правило – ты должен присутствовать – физически и вербально – или хорошо писать контрольные. Но Мартин подозревал, что, если в течение одного семестра

тянуть руку и задавать правильные вопросы (искусство, которое он постоянно совершенствовал, чтобы случайно не попасть впросак), то на контрольной учитель будет более благожелательно толковать твои ответы, даже если они размыты, слишком абстрактны и при ближайшем рассмотрении свидетельствуют о том, что материалом ты толком не владеешь. И он стал выбирать стратегические места впереди, а лучше всего – в первом ряду. Всё получалось, если действовать уверенно и напрямик. Ты вызываешь жалость, если тебя сажают на первый ряд в качестве социальной меры – как, например, их одноклассника Гуннара, страстно увлечённого энтомологией, но, увы, совершенно безнадёжного во всех остальных науках. Когда Мартин и Густав впервые рухнули на стулья рядом с ним, Гуннар бросил на них испуганный взгляд и отодвинул в сторону учебник английской грамматики. А Мартин спиной почувствовал горячее внимание одноклассников, когда в ожидании англичанина раскачивался на стуле. В старших классах школы Густав много прогуливал, поэтому оценки у него хромали. И всё равно он очень много знал, причём так, словно все эти знания дались ему легко, как нечто само собой разумеющееся, что не нужно учить. (Тема недели по французскому: *savoir-faire*.) Его семья каждый год ездила за границу, в Италию или Францию, где жила его бабушка. Он легко оперировал словами, вроде «мизантропический» или «экзальтированный». Рассуждал о голландской живописи, дадаизме и *la belle époque*, а Мартин кивал, как будто понимал, о чём идёт речь.

Когда Густав однажды уклонился от привычных пятничных занятий – пара-тройка часов в кафе, прикуривая одну сигарету от другой, прогулка до Кунгсладугорда, лучше обходными маршрутами, чтобы потянуть время, потом домой к Мартину и обзвон знакомых с целью разведать перспективы для развлечений – когда Густав уклонился от всего этого, объяснив, что «идёт в театр с матерью», Мартин поначалу решил, что он шутит.

– Да нет, у неё билеты на премьеру «Дикой утки».

– О'кей – ответил Мартин, – как говорится, чего только не сделаешь ради Ибсена. – Он был почти уверен, что это Ибсен.

Густав сказал, что будет рисовать.

– Ты имеешь в виду, что станешь художником? – переспросил Мартин.

– Да, но это звучит слишком претенциозно. «Я хочу стать художником». Чтобы им *быть*, надо что-то *делать*, верно? И что касается меня, то я буду рисовать.

Они поднимались вверх к редуту Скансен Кронан, и Густав говорил, с трудом переводя дыхание. Мартин нёс две картонные коробки с горячими хот-догами, покрытыми сверху толстым зигзагом картофельного пюре. Густав волочил свою ношу – парусиновый мешок. Наступило короткое бабье лето, и до холодов надо было воспользоваться последним шансом пожить немного жизнью Лунделя, что вполне оправдывало побег с урока биологии.

Густав расстелил армейскую куртку. Потом вытащил бутылку водки и две завернутые в кухонное полотенце рюмки, в которых каскадом искр вспыхнул солнечный свет.

– Я скажу, как Бодлер, – объявил он, наливая водку. – Всегда нужно быть пьяным. В этом всё: это единственная задача. Чтобы не ощущать ужасный груз времени, который давит нам на плечи и пригибает нас к земле, нужно опьяняться беспрестанно. Чем? Вином, поэзией или истиной – чем угодно. Но опьяняйтесь! <sup>10</sup> Лично меня никогда не прельщало опьянение добродетелью. Но, я полагаю, у каждого на сей счёт есть свои варианты. Выпьем же!

Они чокнулись. «Цветы зла» лежали у Мартина на письменном столе, но он прочёл только «Альбатроса». Глупая чернь, не понимающая величие поэта, и тому подобное. Потом он сочинил несколько стихотворений сам, надёжно спрятав тетрадь среди учебников.

– Когда ты покажешь мне свои картины? – спросил Мартин. – Или хотя бы секретный альбом с набросками?

<sup>10</sup> Пер. Е. Баевской.



Густав улыбнулся. Обычно выражение лица у него было растерянное и немного подавленное – и Мартин не знал, действительно ли его друг растерян и подавлен, или же его черты в состоянии покоя всегда принимают такое выражение. Однако стоило ему улыбнуться, и его лицо озарялось сиянием, а ты думал: кажется, я сделал что-то очень хорошее, раз заставил улыбнуться этого человека.

– Вот, можешь взглянуть, – сказал он, открывая свой вещмешок.

И пока Мартин перелистывал страницы, Густав предельно сосредоточенно жевал сосиску с пюре.

В альбоме были сделанные карандашом и тушью портреты преимущественно незнакомых людей. Но он увидел также нескольких учителей и одноклассников, явно нарисованных без их ведома. Мартину стало интересно, найдёт ли он здесь свой портрет, и, не обнаружив себя, он испытал одновременно облегчение и разочарование.

– Разумеется, тут только наброски, – сказал Густав.

– Это классно.

– Не знаю...

– Брось! Это просто отлично! У тебя действительно способности.

– Ну, кое-что, да, получилось.

Счастье, что талант Густава лежал в той области, где Мартин был откровенно безнадёжен. Будь у Густава такая же склонность к музыке, это немедленно повлияло бы на занятия Мартина гитарой. Или если бы Густав блестяще писал сочинения и их преподавательница шведского всегда смотрела бы на *него*, рассчитывая услышать ответ на вопрос «есть кто-то, кто может рассказать о Стриндберге?». Оценки Мартина были выше по всем предметам, кроме рисования. На полях трафаретов Густава Мартин изображал собственных шедевральных человечков: Мону Лизу с её непостижимой улыбкой; Венеру на некоем предмете, который лишь при большом желании можно было назвать морской раковиной; четырёхугольного, разобранный на части человечка с пояснительной припиской PICASSO. Густав давился хохотом. А если учитель вдруг спрашивал, не хочет ли он поделиться с остальными тем, что его так развеселило, Густав брал себя в руки и сообщал всем, что Мартин нарисовал человечков на «Тайной вечере», и снова начинал хохотать, а одноклассники закатывали глаза, раззадоривая его ещё сильнее.

В начале семестра Мартин общался и с другими одноклассниками. Особых попыток с кем-либо сблизиться не предпринимал, но и не отказывался идти на контакт, как иногда поступал Густав. Когда их товарищи – несколько человек, казавшиеся нормальными, – подходили к ним поболтать, Густав молчал, курил, переводил взгляд с одного на другого и на все вопросы отвечал вежливо, но односложно. После знакомства с Мартином он даже не пытался подружиться с кем-нибудь ещё.

Мартин дал ему свой зачитанный экземпляр «Джека», с которым Густав незамедлительно ознакомился и сказал, что ему понравилось. Он тоже поделился с Мартином своей любимой книгой – замусоленным покетом «Дни в Патагонии» Уильяма Уоллеса.

– Никогда о нём не слышал, – признался Мартин и тут же пожалел. Возможно, Уоллес был тем, кого обязательно нужно знать. Надо спросить у матери. Но оказалось, что и Густав не знает о нём ничего, кроме имени.

– Какой-то англичанин, – сообщил он, пожав плечами. – Или американец. По-моему, приятель того, кто стрелял в слонов.

– Хемингуэя?

– Да, или кого-то из них. Жил в Париже.

– Неплохо было бы пожить в Париже, – мечтательно произнёс Мартин.

Густав просиял. Сказал, что отдыхал в Париже прошлым летом с семьёй, и было, в общем, так себе. Но им с Мартином обязательно нужно туда съездить. Когда-нибудь в ближай-

шем будущем. Они могут добраться автостопом. Или поездом. И автобусы наверняка есть. Что может быть проще. Несколько часов – и ты на континенте.

– А что мы будем там делать? – спросил Мартин. Семейство Берг никогда не проводило отпуск за границей.

– Пить вино в «Клозери де Лилас» и наблюдать гигантов философии в естественной среде их обитания. Сартра и всех прочих.

– Ты видел Сартра?

Густав ответил, что Сартр не был целью его философического сафари.

– К тому же он уже слишком стар. Но будь уверен: умрёт он в туфлях и с сигаретой в зубах, если не в «Клозери де Лилас», то в «Дё маго».

Густав Беккер не был похож ни на кого из знакомых Мартина, и хотя они проводили вместе большую часть суток, но точку на карте социальной жизни, куда можно было бы определить нового друга, Мартин найти не мог. Неприветливый, с вечным альбомом для рисования в руках, он производил впечатление странного типа. Их одноклассники, туповатые и благовоспитанные любители джемперов с V-образным вырезом, ограничивались лишь косыми взглядами, но в ночном трамвае Густава с большой вероятностью могли бы и побить, потому что кому-нибудь могла не понравиться его наружность. А он не смог бы себя защитить ни словом, ни действием.

И в то же время Густав напоминал Мартину не отличавшихся миролюбивостью дерзких панков. Отчасти из-за «вороньего» стиля одежды, отчасти потому, что Густав действительно водил дружбу с некоторыми из них. Когда они шли через Васапаркен, кто-нибудь из панковской тусовки часто восклицал: «О, Густав!», и он ненадолго останавливался перекинуться парой слов, пока Мартин мусолил сигарету, от которой ему чаще всего становилось дурно.

В покрытых заклёпками и шипами кожаных куртках, панки перемещались стаей, сопровождаемые звяканьем цепей, скрипом сминаемых пивных банок, харканьем и плевками. И хотя в целом они освежающе контрастировали и с загорелыми, правильными спортсменами (которые давно стояли Мартину поперёк горла), и с якобы вымирающими (и абсолютно неинтересными) поклонниками диско, и с крутыми любителями прогрессивного рока (чтобы прикнудить к этим, надо было больше интересоваться политикой) – но всё равно что-то удерживало их на расстоянии, потому что, положив руку на сердце, толпа, какая бы она ни была, – это всё равно толпа.

– Одеваются одинаково, слушают одинаковую музыку, – говорил Мартин. – И по-моему, неважно, «АББА» это или Эбба Грён.

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что это в любом случае поведение толпы.

– Да, пожалуй. Но я как-нибудь отведу тебя в «Эрролс»...

Что такое «Эрролс», Мартин не знал, а притворяться не имело смысла, и он раздражённо спросил:

– Это что ещё такое?

– Рок-клуб. – Несколько месяцев назад Густав был на его открытии. – Сумасшедший дом. Когда играли Göteborg Sound, их солист изрезал себе щёки бритвой.

– *Что* он сделал?

– Просто взял и саданул себе по щекам. Публику забрызгало кровью, там всё было в крови. Кому-то удалось его остановить и отвезти в больницу. Но знаешь, что самое безумное? На следующий день они *снова* выступали! Хотя ему наложили двадцать два шва. Он выглядел немного расстроенным, но там был такой драйв!

– М-да, – выдохнул Мартин.

– Там вроде бы скоро выступает Attentat.

– Но как ты прошёл? – На восемнадцать лет Густав не тянул, даже с фальшивым удостоверением личности.

– У меня там есть знакомый... – сказал Густав. – Не всегда, но иногда он меня пускает. – Мартин посчитал парадоксом тот факт, что заведение, сцепившееся в схватке с властью, настаивает на возрастном цензе для посетителей. Густав возразил: если они будут впускать всех встречных-поперечных, они превратятся в развлекательный центр. Как бы там ни было, их визит надо отложить до того времени, когда там будет работать его приятель, а сейчас он в Амстердаме, и когда вернётся, пока неясно.

\* \* \*

Когда вечером в пятницу Густав должен был пойти с матерью на концерт («какой-то русский играет Шопена»), Мартин ощутил, что его общество стало чем-то настолько само собой разумеющимся, что он не мог придумать, чем заняться. В итоге отправился в их любимое кафе в Хаге, убил пару часов, перечитывая любимые места из «Дней в Патагонии», но там было очень шумно, и у него разболелась голова. Потом поплёлся домой и лежал в кровати, пока сестра не крикнула, что ему звонят. Преодолевая краткий путь из своей комнаты до аппарата, успел решить, что это наверняка Густав, что концерт по какой-то причине отменили. И не сразу узнал голос, раздавшийся в трубке.

– Алло, – произнёс Роббан, – давненько не виделись.

Мартин вспомнил несколько записок (*Роберт звонил во вторник вечером*), он забывал о них, едва увидев. Роббан что-то говорил и говорил и до сути, как всегда, дошёл не сразу. Может, Мартин заглянет, чтобы выпить пива и послушать пластинки?

– Ну-у нет, наверное...

Он услышал ещё чей-то приглушенный голос.

– Сусси тоже считает, что ты должен прийти.

– Было бы классно, но... у меня... уроки.

Они повесили трубки, обменявшись любезностями в духе тех, что обычно практикуют взрослые, встретившись в магазине, – *созвонимся, обязательно, в самом ближайшем будущем, действительно давно пора встретиться*. Когда он возвращался к себе, его окликнула мать: иди ужинать.

Мясной рулет с картошкой. У жующего Аббе активно двигались усы. Биргитта резала еду на кусочки, на коленях у неё лежала салфетка. Кикки болтала о показательном выступлении на гимнастике.

– Как интересно, детка, – произнесла Биргитта, и родители заговорили об отставке Турбёрна Фельдина.

Позднее, когда отец ушёл на работу в ночную смену, мама занялась мытьём посуды, а сестра впала в транс перед телевизором, Мартин сел на кровать и почувствовал, что ему трудно дышать. Впереди не один час бодрствования. Тяжесть на сердце. Густав сидит в бархатном кресле концертного зала Бергакунг, а пианист в чёрном фраке только что взял первый аккорд...

Он быстро встал.

– Пойду погуляю! – крикнул в сторону кухни.

– Поздно вернёшься? – В дверях показалась вытирающая крышку кастрюли мама, спокойная и явно поинтересовавшаяся просто так, чтобы знать. Она всегда отпускала его из дома и критически отреагировала только один раз, когда однажды в девятом классе он вернулся домой пьяным, умудрился споткнуться о неудачно поставленный стул, после чего его вырвало на пол в прихожей. «*Но, Мартин...*» – запахивая халат, сказала Биргитта таким тоном, от которого ему стало настолько стыдно, как не было бы, если бы мать его отругала.

– Нет, – покачал он головой. – Просто немного пройдуся. – Она кивнула и вернулась к посуде.

Вечер был холодным и влажным. Мартин поднял воротник, как у Альбера Камю. Вместо дутой красной куртки, которую ему купили в девятом классе – на тот момент вершины эстетического совершенства, – он приобрёл в комиссионном чёрное пальто. Поначалу казалось противным ходить в одежде, которую кто-то носил, но Густав был полон энтузиазма.

– Чёрт, да ты же вылитый Хамфри, если бы он слегка расслабился и начал пить пиво вместо виски со льдом.

И Мартин представлял, как свет фонаря выхватывает из мрака улицы тёмную фигуру, одетую в пальто. Одинокие тени выгуливали собак. Он бесцельно шёл в направлении центра. В похожем на дворец здании на Линнеплатсен яркими огнями светились окна. Дома в Линне такие красивые, но все, кого он оттуда знал, курили травку и жили на пособие. Чёрные мокрые улицы, тёмные витрины.

Он двинул к Йернторгет через Хагу. С верхних этажей доносились приглушенные звуки музыки, плакат, натянутый между двумя окнами, призывал «СОХРАНИМ ХАГУ!», голоса и смех прохожих. Антракт, и волна прилива вынесла Густава, его мать и остальных слушателей в фойе. Возможно, Густав вышел на улицу глотнуть воздуха или покурить и сейчас видит то же небо, что и Мартин, – тёмно-синий свод с чернильными кляксами облаков и дрожащими от одиночества звёздами.

Ноги привели его на Магазингатан. Он шёл не спеша, словно возвращался домой, куда невозможно опоздать. «Эрролс» он идентифицировал издали, у входа стояла шумная компания. Преодолев по противоположной стороне улицы примерно половину пути, Мартин зажёл сигарету. Из дверей рок-клуба доносились глухие ударные и голодный гитарный вой. Он немного постоял, глядя в конец улицы, а докурив, затоптал окурки на булыжной мостовой и развернулся в сторону дома.

## IV

ЖУРНАЛИСТ: Как бы вы охарактеризовали литературную среду того периода?

МАРТИН БЕРГ: Это было прекрасное время. Предполагалось, что литература должна быть нравоучительной и... *честной* в некоторых политических вопросах. Что впоследствии, разумеется, сделало её невероятно скучной. И в конце концов люди начали действовать от противного.

ЖУРНАЛИСТ: И вы?

МАРТИН БЕРГ: Мы считали себя в первую очередь эстетами, а не революционерами. Что, возможно, было вполне революционно в семидесятые...

ЖУРНАЛИСТ: Говоря «мы», вы подразумеваете себя и Густава Беккера?

\* \* \*

Единственная попытка написать о своей семье и детстве, то есть создать слегка замаскированную автобиографию, как-то предпринятая им в гимназии, не вызвала у него ничего, кроме скуки.

Он вырос в самом дальнем конце Кунгсладугордсгатан. Семейство N обитало в кирпичном доме с безликим фасадом, зелёный косогор двора, спускаясь вниз, безвольно сливался с улицей. Позади дома располагался садовый участок – несколько кустов худосочной сирени и крыжовника. Имелась беседка, место для барбекю и скрипучие садовые качели под навесом из рифлёного пластика, откуда приходилось регулярно убирать опавшие листья. В гараже стоял

тёмно-синий «вольво амазон» 1960 года. Ещё были окна, не раскрывавшие никаких секретов, и входная дверь с почти постоянно молчащим звонком.

И хотя писал он это, сидя в гремучем пивном баре, настроение он почувствовал тонко и точно. Медленное тиканье часов. Дым маминых сигарет, ползущий вверх равнодушной змеей. Коричневатые в клетку обои в его комнате, на которые он, случалось, пялился так долго, что в конце концов ему хотелось закричать. Спина матери, молча моющей посуду. Шелест газеты, которую в беседке читал отец. Скрип садовых качелей. Мерцание телеэкрана. «Эхо» без четверти пять. Подстриженный газон. Асфальт на проезжей части и тротуаре летом. Вечный выбор – ускорить время, поссорившись с сестрой, или поехать куда глаза глядят на велосипеде.

Нежелание восстанавливать всё это было настолько сильным, что продолжить он попросту не смог. Впрочем, поразмышляв, решил, что проблема, возможно, в самом жанре – «Слова» Сартра тоже ужасны.

Другое дело – семейство Беккер. Это более благодатный материал для романа. В их квартире на углу Улоф-Вийксгата и Сёдравэген Мартин бывал в общей сложности всего несколько раз, и в его памяти тут же возникли утратившие резкость и подсвеченные сепией картины прошлого. Присутствие директора фон Беккера ощущалось постоянно – струя сигарного дыма, шляпы на верхней полке в прихожей, тёмное пальто на вешалке, – но в действительности Мартин виделся с ним всего лишь один раз. В подъезде. Они поднимались по лестнице, а отец Густава спускался. Около сорока пяти, но походка энергичная. Его легко было представить на теннисном корте. Костюм, портфель, очки в черепаховой оправе. Мартин понял, кто это, ещё до того, как мужчина остановился и изрёк, словно в каком-нибудь киножурнале: «Вот так встреча», потому что с тех пор, как в порту начались неприятности, его портрет иногда появлялся в газетах. Он был исполнительным директором одного из пароходств. Не «Трансатлантик», это Мартин запомнил бы, но, кажется, «Стрёмбергс»?

– Папа... – Густав отвёл взгляд. Всё его существо явно разрывалось надвое – остановиться или пойти дальше, как будто ничего не произошло. Мартина внезапно осенило: проблема не в нём, наоборот, Густав не хочет, чтобы друзья встречались с его родителями.

– Здравствуйте, – сказал Мартин, протягивая руку. – Мартин Берг.

– Бенгт фон Беккер. – Этим голосом можно было бы визировать документы – подпись получилась бы крупная, с наклоном, выведенная перьевой чернильной ручкой.

– Это, соответственно, отец, – сказал Густав после того, как захлопнулась входная дверь.

Госпожа фон Беккер, появившись из лабиринтообразных недр квартиры, сказала, что ей чрезвычайно приятно познакомиться с Мартином. Марлен («меня называли в честь Дитрих») была одета в бежевый костюм, не делавший тайны из её крайней худобы. Взгляд быстро сместился с уровня глаз куда-то вниз – к её ногам и львиным ножкам кряжистого комода. На фоне сияющего паркета и персидского ковра вещмешок Густава выглядел оборванцем.

– Я отведу девочек на хореографию, – обронила она где-то рядом с изящной скамеечкой для ног. Тут же, как по заказу, появились и сухо поздоровались две младших сестры лет одиннадцати-двенадцати, обе в пачках и с пуантами в руках. – По-моему, в холодильнике осталась какая-то еда... – На миг лицо Марлен стало растерянным, но потом на нём, точно лампочка, вспыхнула улыбка, и Марлен поцеловала сына в щеку.

Густав с мрачной физиономией смял край свитера.

Его комната выходила во внутренний двор дома с чугунными балконами и рядами высоких окон, в которые он, судя по всему, смотрел часто, потому что показал, где живёт старик – бывший военный, любитель ходить нагишом, а где женщина, которая днём изменяет мужу, как предполагал Густав, с почтальоном.

– Все думают, что это клише, а это, оказывается, правда жизни. По части грехов люди не так изобретательны, как кажется.

В углу стоял мольберт, повсюду валялись наброски. На стене висел кусок восточной ткани, прикреплённый канцелярскими кнопками. Постель не заправлена. На широких подоконниках завалы книг в мягких обложках, газет, пластинок, пустых сигаретных пачек, здесь же упаковка акварельных красок и банки с кисточками. У невысокого, в стиле рококо комода открыт один ящик, словно комод пытался выплюнуть содержимое (в основном носки), но ему это не удалось. На комоде бронзовая статуэтка балерины.

– Красиво тут у тебя, – сказал Мартин. Густав как будто этого не услышал.

– Идём, – произнёс он, – кое-что стырим.

– Что?

Но Густав лишь взял его за руку и потянул за собой.

Где-то пробили часы. Ковровое покрытие приглушало шаги. В гостиной Густав остановился, раскинул руки в стороны и осмотрелся, как искатель приключений, впервые поднявшийся в горы. Кожаные кресла и диван выглядели совершенно новыми. В мраморной пепельнице ни одного окурка. Пустой журнальный столик, пустая ваза для цветов. Суперсовременный телевизор. Вероятно, чета фон Б. смотрела здесь субботнее вечернее шоу, но было гораздо легче представить их в комнате, которую Густав назвал «салоном»: исключительно антикварная мебель, картины на стенах, мягкий свет хрустальной люстры.

Мартин рассматривал книжные полки. Ряды книг в кожаных переплётках с золотым тиснением. Он вытащил «Отца» Стриндберга. Издание 1924 года. Скрипучий корешок, жёсткие, нечитанные страницы.

Густав пошарил рукой за книгами.

– Что ты делаешь?

– *Voilà*, – подмигнул он и вытащил полбутылки водки. – Держи.

Он прошёл в глубь комнаты. Почесал спину так, что футболка приподнялась и обнажила полоску кожи.

– Но... разве не заметят?

– Она никогда ничего не скажет.

Сунув руку в большой синий-белый керамический сосуд, Густав вынул оттуда на четверть пустую бутылку коньяка.

– Непременно в вазе династии Мин, – проговорил он. – Вкус у неё все-таки есть.

Они пошли дальше. Салон. Кухня. Длинный коридор для прислуги. Зал с эркером. Единственным помещением, где Густав не провёл обыск, был прокуренный кабинет с большим письменным столом в центре. В комнатах сестёр он тоже не искал, но заглянул туда шутки ради. У обеих стены были оклеены плакатами с изображениями лошадей, «АББА» и Теда Гердстада с гитарой через плечо. Густав бросил Мартину старого лысоватого мишку и сказал:

– Не понимаю, почему она до сих пор его хранит. Думаю, тут хитроумная тактика: она кажется младше и безобиднее, чем на самом деле. Шарлотта – это реальный дьявол, просто Макиавелли. У неё под контролем вся моя бывшая школа, включая педагогический коллектив. Она реальный кукловод.

– А выглядела довольно милой, – сказал Мартин, хотя точно не понял, о какой из сестёр идёт речь.

– Внешность обманчива, друг мой. Обманчива... – Густав вдруг с внезапным интересом взял какую-то тетрадь, лежавшую на прикроватной тумбочке, но, пролистав её, презрительно вернул на место:

– *Книга расходов*. О боже. Эта девица выросла бы капиталисткой, даже если бы её феями-крёстными были Кастро, Мао и Маркс, а отцом – Троцкий...

В спальне родителей были опущены жалюзи и царил праздный полумрак. Огромная кровать, ни морщинки на шёлковом покрывале. Мартину всегда казалось, что так должен выглядеть номер в отеле. В ящике косметического столика Густав нашёл ещё одну бутылку водки,

но, недолго поколебавшись, вернул её на место. Завернул находки в свитер и положил в свой вещмешок.

И пока он делал бутерброды и допивал остатки молока, Мартин проверял у него заданные на дом французские слова.

\* \* \*

Как-то утром, скользнув на привычное место рядом с Мартином, Густав протянул ему раскрытую ладонь, на которой лежал ключ.

– Что это? – шёпотом спросил Мартин.

– У меня новая квартира, – ответил Густав. – Бери. Это запасной. Я свои вечно теряю.

Пропустив физкультуру, они отправились туда сразу после обеденного перерыва. Договор был оформлен на имя некоего Йоффе, который, по словам Густава, уехал из страны в какой-то кибуц искать душевного успокоения и сдал жильё в поднайм. Старый район у подножия горы. Улица Шёмансгатан была, по сути, крутым склоном, по обеим сторонам которого стояли накренившиеся дома, в Гётеборге их традиционно называют губернаторскими – трёхэтажные, с фасадами, выкрашенными в серый, грязно-белый и выцветший фалунский красный.

– Всего сто пятьдесят крон в месяц, – сообщил Густав, когда они поднимались по узкой лестнице. В подарок на последний день рождения он получил кое-какие деньги от бабушки, которая наверняка одобрила бы идею переезда.

Одна комната с кухней. Йоффе оставил диван – плюшевую рухлядь. Стол на кухне шатался, а дверцы у шкафчиков были зелёными.

Они принялись искать максимально дешёвую мебель. В ангаре для ненужных вещей обнаружилось старомодное кожаное кресло в отличном состоянии. В коридоре подвального этажа стояли четыре стула с решетчатыми спинками.

– Коридор – это не чья-то кладовка, – сказал Густав.

– Думаешь, их оставили здесь специально, чтобы кто-то другой мог забрать? – сказал Мартин.

Но на всякий случай они занесли стулья в квартиру поздно вечером. Густав где-то раздобыл матрас и положил его прямо на пол. Мольберт и проигрыватель принёс из дома, и жилище, таким образом, оказалось укомплектованным всем необходимым.

После этого Мартин редко шёл из школы домой. Иногда забегал, оставлял учебники, ел и снова исчезал. Диван на Шёмансгатан оказался на удивление удобным, в ванной стояла его зубная щётка, а одежду он чаще всего брал у Густава. Полосатые свитера и старые фланелевые рубашки, от вида которых мама морщила лоб. Она, собственно, и видела-то только эту прореху на манжете, а не самого Мартина, и недоумевала, когда сын отвергал предложение заштопать дыру:

– Но почему?

– Это Густава.

– Но разве Густав не хочет ходить в целой рубашке?

– Мне всё равно уже пора...

Непонятно, как он раньше проводил все те часы, которые сейчас просиживал в «Мостерс» с чашкой кофе и бутербродом с сыром – мелко натёртым и выложенным горкой. Наверное, он тупо лежал бы на диване, пялясь в экран, где шла очередная серия «МЭШ», и, чтобы не заснуть, поругивался бы с Кикки, которая требовала бы переключить на «Второй канал». Смутные, словно из другой жизни, воспоминания. Тихое блёклое прошлое – резкий контраст с симфонией кафе, складывающейся из шума разговоров, щелчков игро-

вого автомата, звона посуды, пробивающихся из-за обязательного занавеса фраз, которыми на кухне громко обмениваются хозяева, потом это щедро оркестрованное произведение набирает (яростные движения дирижёрской палочки) крещендо в момент, когда над булыжником оглушительно-злобно взлетает мопед, отправленный за молоком. После чего в помещении снова воцаряется покой, и ты помешиваешь в чашке сахар, словно ничего не случилось. Кто-то заказывает бутерброд с анчоусами. В дверях появляется полужнакомый рокер.

До встречи с Густавом Мартин много раз проходил по Хага Нюгата и заглядывал в окна этого кафе. И когда однажды после нескольких недель учёбы Густав предложил «пошли в “Мостерс”», торжественность момента оказалась не вполне сообразной чисто материальному, внешнему впечатлению, которое получил Мартин, впервые переступив порог заведения. Оно напоминало чью-то гостиную, заставленную мебелью и комнатными растениями, с покосившимися картинами на стенах. В углу стоял игровой автомат, у автомата – девушка с распущенными чёрными волосами и макияжем в стиле Siouxsie and the Banshees. Густав кивнул нескольким парням с зачехлёнными гитарами. Это было через несколько дней после того, как он уговорил Мартина купить в секонд-хенде то самое пальто, к которому Мартин пока ещё не вполне привык. Но заявиться сюда в яркой дутой куртке, вытребованной по глупости прошлой зимой, было бы социальным самоубийством. Тут собиралась публика, на которую всегда жаловалась подвыпившая Сусси, поскольку эти люди считали «обманом или чем-то таким» то, что Сусси красится. (Он тут же вспомнил её старшую сестру, сердитую девицу двадцати двух лет, которая иногда приезжала из своей народной школы и, пытаясь вдолбить в голову Сусси, что та жертва мужского социума, спрашивала, ради кого Сусси бреет ноги. Мать говорила ей «успокойся», но та не успокаивалась и начинала вопить что-то о пролетариате, а мать нудела «Эва хотя бы учись», потому что *сама* она всю жизнь работала в булочной, а потом всё это повторялось по новой, и Сусси вздыхала и говорила: «Идём отсюда».)

И вот он стоит в этом графитовом шерстяном пальто – Сусси наверняка скривилась бы от отвращения, сама она ни за что в жизни не надела бы то, что уже кто-то носил, – и кивает в ответ на вопрос, пойдёт ли он слушать *Attentat* по известному адресу через пару недель.

Потом был своеобразный период ученичества – он осваивал ритм и правила микрокосмоса кафе. Кофе они заказывали у Магритта, чей образ – золотые украшения, зелёный нейлоновый плащ – выбивался из общей массы. Мартин понял, что никогда нельзя спешить, и что, учитывая опрятность здешней кухонной зоны, надёжнее всего брать сэндвичи с сыром. Здесь всегда сидел кто-то из их (читай Густава) знакомых, и в зависимости от настроения можно было либо присоединиться к большой компании, либо расположиться отдельно. Из угла открывался прекрасный обзор, там хорошо было сидеть с чашкой кофе – если повезёт, свежего; если нет, приходилось пить выжимки от повторного прогона воды через фильтр, это был один из наименее привлекательных трюков экономных хозяев.

В тот ноябрьский вечер Мартин сидел в кафе один, за окном моросило. Дым поднимался к потолку, Мартин листал «Степного волка», которого ему посоветовала приятельница Густава, симпатичная датчанка из Копенгагена, в неё вполне можно было бы влюбиться, если бы не расстояние, да и к тому же у неё вроде был роман с каким-то художником. Она сказала, что эту книгу стоит прочесть. По крайней мере, он был почти точно уверен, что девчонка сказала именно это, потому что понять говорящего по-датски не всегда легко.

Заметив, что кто-то стоит рядом, Мартин оторвался от книги. Это был Густав, стёкла его очков покрывала тонкая сетка дождевых капель.

– Смотри, что я купил, – сказал он и высыпал содержимое пластикового пакета на стол – десяток пухлых тюбиков с масляными красками, на каждой маленькая этикетка с названием. Красный кадмий, цинковый белый, ультрамарин. А ещё несколько жёстких кисточек.

– Краски, – произнёс Мартин.



– У меня идея. Помнишь «Жизнь – это праздник»<sup>11</sup>? Обложку?

Мартин кивнул. Эта обложка ему всегда нравилась: на чёрном фоне стол, заваленный бутылками, пивными банками и окурками, а сверху название белыми буквами.

– Правда, немного напоминает какой-нибудь голландский натюрморт с фруктами, едой и прочим? Стол, на котором то, что вот-вот испортится, – слегка перезрелые груши, омар, пролежавший чуть дольше срока? И раковина устрицы. И скатерть в заламах, а в центре цветы и череп?

Густав искал в карманах пальто сигареты, а когда нашёл, начал искать, чем прикурить, и в конце концов обнаружил смятый коробок с двумя последними спичками.

– Да, наверное, – ответил Мартин, поймав себя на мысли, что всегда произносил слово «натюрморт» неправильно. Он отметил в воображаемом списке, что нужно посмотреть в библиотеке: голландская живопись, натюрморт, фрукты, череп.

– И всегда тёмный фон, – произнёс Густав. Он зажёл спичку и поднёс её к кончику сигареты, закрыл глаза и сделал первую затяжку. – Точно как на пластинке... Ладно, ты есть хочешь? Я проголодался. Может, пойдём в «Прагу»?

– У меня ни гроша...

– Бабуля угощает, прислала денег. Кстати, на краски, но у меня осталось. Мне кажется, ей нравится быть меценатом.

По дороге на Свеаплан Густав рассказывал о своей идее: он хотел комбинировать искусную, но консервативную живопись голландцев XVII века – и он перечислил имена, которые Мартин постарался запомнить, – с более пофигистской манерой в стиле обложки Nationalteater.

– Так сказать, встреча высокого и низкого. Чем, собственно, ребята в семнадцатом веке и занимались, но сейчас этого никто не помнит, сейчас это Великое Искусство, насколько я понимаю. Считается, что современное искусство – это сплошное дерьмо, мусор, козы в автомобильных шинах<sup>12</sup> и так далее.

Мартин надеялся, что по его лицу не видно, как он растерян.

В «Юллене Праг» было накурено и дымно.

– Два гуляша, пожалуйста, – заказал Густав. – И пиво. Хотя, если честно, то я понятия не имею, как работать маслом. Вроде надо загрунтовать холст – и вперёд... но мне кажется, что вся эта фигня будет потом просыхать целую вечность.

– Ты не хочешь спросить у учителя рисования?

– Отличная идея. – Густав хлопнул в ладоши, как будто всё решено, и наградил сияющей улыбкой официантку, когда та поставила на стол две кружки.

\* \* \*

Иногда Густав мог несколько дней или неделю не приходить в школу.

– Я болел, – объяснял он, возвращаясь. – Страшно простудился, лежал с температурой и всем прочим.

Пока Густав был дома, Мартин поддерживал хорошие отношения с теми нормальными одноклассниками, с кем при прочих обстоятельствах мог бы сойтись поближе. Много времени проводил в библиотеке, где за последние тридцать лет почти ничего не изменилось. Единственным свидетельством в пользу конца семидесятых была стройная девушка с взъерошенными волосами и в брюках на подтяжках, которая сидела у окна, склонившись над увесистым томом, и покачивала ногой в сабо на деревянной подошве: ещё лет десять назад такой небрежный

---

<sup>11</sup> Трек из одноименного альбома шведской музыкально-театральной группы Nationalteater.

<sup>12</sup> Речь о работе Роберта Раушенберга «Монограмма», находящейся в собрании Музея современного искусства Стокгольма.

стиль в гимназии был бы немислим. Вздохнув, Мартин перелистнул страницу книги «ГОЛЛАНДСКИЕ МАСТЕРА – ОТ БОСХА ДО ВЕРМЕЕРА».

Слабость, постоянные простуды, температура и прочие серьёзные болезни Густава (опоясывающий лишай и воспаление лёгких) заставили Мартина ощущать собственное здоровье как нечто скучное. Он всегда был физически крепким и периодически старался проявить себя на физкультуре, чтобы ему не слишком снижали оценки. В играх с мячом он ничем не отличался от других, но хорошо бегал, особенно на короткие дистанции, и неплохо прыгал в высоту и длину. Заболевая, быстро выздоравливал, его организм как будто хотел поскорее избавиться от недомогания.

Он представлял, как укутанный в одеяла Густав лежит на своём матрасе.

Однажды во время очередной болезни Мартин купил несколько банок консервированного горохового супа и после школы пошёл домой к Густаву. Это было в марте с его свинцово-синим небом и слякотью на дорогах. Уличные фонари раскачивались на проводах от ледяного ветра, и, поднимаясь по Шёмансгатан, Мартин дрожал от холода. Дверь в подъезд оказалась закрытой, и, роясь в карманах в поисках ключа, Мартин вдруг явственно увидел: ключ остался дома на комоде. Он вытащил его из кармана джинсовой куртки, когда мама пришла за вещами для стирки.

Недавно на входной двери установили панель с отдельными кнопками для каждой квартиры. Мартин несколько раз нажал на звонок Густава, но ответа не последовало. В его окнах горел свет. Мартин подождал, позвонил в последний раз. А потом поставил банки с супом на землю и ушёл.

## V

ЖУРНАЛИСТ: Назовите источники вашего литературного вдохновения?

МАРТИН БЕРГ [*проводит рукой по волосам, размышляет*]: Они, разумеется, самые разные, но Уильяма Уоллеса я упомянуть обязан. Уоллес всегда был рядом. Забавно, потому что в восьмидесятых он не был звездой. Он не был модным. Его ренессанс случился в шестидесятые благодаря фильму, снятому по «Дням в Патагонии» со Стивом Маккуином и Пьер Анджели. Экранизация действительно удалась. Я считаю, что режиссёр передал образность текста. И преодолел искушение превратить всё в мелодраму. Как бы там ни было, Уоллес – это представитель... можно сказать, классической литературной традиции. А она не была в тренде, когда под влиянием постмодернизма начался процесс проблематизации и пересмотра возможностей литературы. Да, Уоллес был новатором, но, несмотря на это, он всё же принадлежал старой гвардии. И у него самобытный язык, а его произведения можно назвать эпическими. Он очень серьёзно относился к самому себе. В этом нет ни капли иронии. Уоллес очень... я бы сказал, *самодостаточный* автор. Я вспомнил [*смеётся*]... как однажды на вечеринке разговаривал с несколькими одетыми в чёрное типами, студентами университета, которые полагали, что читать стоит только Стига Ларссона и Маре Кандре. А все прочие – старьё и пережитки. Между нами завязалась довольно бурная дискуссия на эту тему... и мне удалось убедить одного из них дать Уоллесу шанс, чего он, разумеется, не сделал.

\* \* \*

– Ну, что, пора принять?

Не дожидаясь ответа, Густав бросил кубики льда в бокалы для грога, которые он, по его словам, стащил в отеле «Эггерс», – просто спрятал их в карманах пальто и вынес. Потом он плеснул в каждый бокал изрядную порцию бурбона, отрезал пару лимонных долек, раздавил их, попробовал и отрезал ещё две.

– Сироп, – приказал он, как хирург ассистенту.

Мартин принёс кастрюлю с сиропом, остывавшим на подоконнике. Густав положил по паре ложек в бокалы, один из которых протянул Мартину.

Что касается алкоголя, то Мартину доводилось заливать в себя почти всё. Тёплое пиво. Кислое красное, обжигавшее желчью при рвоте. Самогон категории двадцать крон за канистру, который они смешивали с лимонадом, без особого, впрочем, эффекта. Зелья, найденные в домашних барах родителей друзей. Но пить с Густавом – это была совсем другая история. Виски огненным шаром катилось по пищеводу, согревая всё тело изнутри. Жгучая водка ледяным уколом пронзала мозг. А летом, когда жара добела раскаляла верхний этаж дома на Шёмансгатан, они предпочитали прохладный мутновато-жёлтый пастис.

– Ну, давай!

– За что? – спросил Мартин.

– За то, что пятьдесят процентов гимназии, в принципе, уже позади. – Густав добавил в свой грог ещё немного виски. – Я бы не справился один.

– Прекрати, разумеется, ты бы со всем справился.

– Ты представляешь меня *tout seul*<sup>13</sup> в нашем классе? Представляешь? Что бы я делал в перерывах? Обсуждал с Кристиной учёбу её парня в Беркли? Или... – он глубоко затянулся сигаретой и закрыл глаза, притворяясь, что думает, – погружался бы в тайны предпринимательства с этим, как там его, Улофом?

– Стефаном.

– Зачем он вообще поступил в наш класс? Почему не выбрал экономический профиль?

– Непонятно.

– Стена непонимания и скука, вот что меня ожидало бы.

Повисла пауза, и, воспользовавшись этим, Мартин жестом показал на пять сложенных вдвое машинописных страниц, которые лежали на кухонном столе.

– И что ты думаешь?

– О, это потрясающе, само собой.

Мартин окатила волна облегчения.

– Ты действительно так считаешь?

– Да, конечно. А вечеринка особенно удачное место.

Мартин цапнул со стола рукопись и быстро пробежал глазами первую страницу. Слова прыгали у него перед глазами, одновременно знакомые и чужие.

– Думаю, это надо развить. Так, чтобы получился... ну, роман.

На самом деле над книгой он работал уже давно. Но пока его *magnum opus* являл собой преимущественно исчерканные страницы из блокнотов А4 плюс машинописные фрагменты. Он высчитал, сколько примерно слов нужно для романа в двести страниц и, прикинув число слов на странице, умножил на двести: получилось шестьдесят шесть тысяч.

Густав выпил свой напиток и принялся готовить вторую порцию.

– И тебе лучше выпить ещё, – сказал он, – у прозаиков всегда непростые отношения с алкоголем.

В школе к этому времени у них уже сложилось нечто вроде репутации. Ничего не принимая, чтобы раздувать слухи, Мартин, однако, и не опровергал какие-то заведомо ложные вещи. Когда они плечом к плечу пересекали школьный двор, на них смотрели все. Долговязый Густав, который круто рисует, и якобы круглый отличник Мартин. Они не ходили на классные собрания, а вместо этого слушали классическую музыку и пили вино. Умудрились пробраться на школьный чердак и устроили там своё логово. (Все считали, что это именно Густав и Мар-

---

<sup>13</sup> В одиночку (*фр.*).

тин, потому что охранник нашёл там несколько замусоленных номеров «БЛМ» и «Крис»<sup>14</sup>, пустые бутылки и две грязные упаковки от луковых чипсов.) Склонив друг к другу головы, они сидели на ограде школьного двора, а потом Мартин выпрямлялся во весь рост и, продекламировав, кажется, Рембо, спрыгивал с другой стороны и подворачивал ногу (здесь приглушённое *ругательство*), и ковылял в школьный медкабинет. На школьные вечеринки они приходили на пять часов позже остальных и уже пьяными. Не обращая никакого внимания на происходящее, воровали несколько банок пива и, немного потусовавшись, снова исчезали, так же внезапно, как и появлялись. Шли туда, где веселее? В какой-нибудь подпольный клуб? Точно никто не знал.

Всё это Мартин понял, когда на углублённых занятиях по французскому сел рядом с Ивонн Педерсен.

– О, это ты, – вздохнула она, не выразив, впрочем, никакого неудовольствия.

– *Moi?* – ответил Мартин. – *Expliquez, s'il vous plaît*<sup>15</sup>.

Ивонн скорчила физиономию, но ответить не успела, потому что фрекен Хофф заскрипела мелом, выводя на доске формы глаголов. Ивонн была известна как «та, что похожа на Брук Шилдс», после урока она неотступно шла за ним от класса до гардероба и спрашивала, правда ли, что они автостопом ездили в Копенгаген, а на обратном пути привезли травку, и им удалось скрыться от полиции в Мальмё.

– Возможно, – ответил Мартин, запирая замок на своём шкафчике. – Возможно, правда, а возможно, нет. Представь, что это как кот Шрёдингера, – сказал он и вышел во двор, где его ждал Густав.

Что касается девушек, то он заметил закономерность: чем меньше он напрягался, тем легче всё складывалось. Как-то на уроке у него случился приступ интереса к математике – ему захотелось проиллюстрировать эту закономерность с помощью какого-нибудь графика.

– Ты с ума сошёл, да? – отреагировал Густав.

– Но чисто теоретически – есть же расчёты, подтверждающие существование чёрных дыр и прочего... Да что *ты* можешь знать? Ты же только и делаешь что рисуешь.

Так или иначе, но на основании экспериментов и наблюдения за поведением других был собран приличный эмпирический материал. Вместо того чтобы идти на ту или иную вечеринку (как он обещал Хелене или Осе), он сидел дома у Густава, играл на гитаре и пел неприличные песни собственного сочинения, пока Густав рисовал. Они пили вино в пыльных бутылках, изъятых Густавом из родительских запасов, смеялись и дурачились и, в сотый раз бросив взгляд на часы, спрашивали друг друга: может, стоит *пойти*? Или, вместо того чтобы провести вечер с Ивонн, которая намекнула, что её интересуют не только формы сослагательного наклонения (*la question c'est voulez-vous/voul-ez-vous aha*<sup>16</sup>), он бросил девушку одну в квартире её родителей на Кунгсхёйд и направился в «Эрролс», где буйствовала какая-то громогласная панк-группа, а Густав прыгал перед сценой.

Безразличие Мартина было наигранным, по крайней мере сначала. Оставляя Ивонн одну с тетрадками и словарями, он подсознательно знал, что в перспективе это себя оправдает. (И верно: как только родители уехали, она пригласила его на ужин, а после они занялись любовью в гостиной на диване, обитом цветастым гобеленом, который камуфлировал компрометирующие пятна.) Чтобы показать, что тебе всё равно, нужно всего лишь вести себя так же, как Густав. Густав шёл на вечеринку, потому что хотел пойти на вечеринку. И джинсовую рубашку в пятнах краски надевал не для того, чтобы изображать из себя художника и интересную личность, а потому что эта рубашка просто первой попала под руку. В долгие и абстрактные

<sup>14</sup> Шведские литературные журналы.

<sup>15</sup> Я? Объясни, пожалуйста (*фр.*).

<sup>16</sup> «Вопрос в том, хочешь ли ты...» (*фр.*) Цитата из песни группы «АББА».

рассуждения о будущем и прошлом портретной живописи Густав пускался не ради того, чтобы произвести впечатление на Соню из Шиллерской гимназии, а потому что в тот день он действительно думал о портретной живописи вообще и Мане в частности и хотел это с кем-нибудь обсудить. И увидев Соню, которая потягивала пиво и убирала за ухо выбившуюся прядь, Густав поправлял на носу очки и начинал говорить, а Соня подвигалась поближе.

– Всё, конец, – мог объявить он, наполняя посеребрённую флягу, бабкино наследство, чужой водкой. – Я за то, чтобы свалить.

И если потом они сталкивались с Соней из Шиллерской в «Мостерс» и она интересовалась, куда они тогда исчезли, Мартин пожимал плечами и отвечал:

– Мы пошли в «Эрролс».

Эти слова не умещали всего смысла, потому что «пойти в “Эрролс”» означало, что у тебя будет сосать по ложечкой, пока тебе не кивнёт охранник, что ты будешь тесно прижиматься к людям в чёрных кожаных куртках, что на сцене взорвутся ударные, а гитары будут резать тебя по живому, что ты заведёшь странный разговор со скептически настроенной девицей, выкуришь кучу сигарет, а потом будешь с кем-то обниматься и в конце концов выйдешь на улицу в холодную ночь, где снова будешь с кем-то обниматься, а потом, дрожа, пойдёшь искать работающий ночью гриль, а после помчишься домой на Шёмансгатан и, развалившись на матрасе, будешь пить грог и на маленькой громкости слушать Шопена и вдохновенно обсуждать нечто глубокое и важное, что рассеется как дым, когда ты поутру вспомнишь ночной разговор. Мартин редко планировал что-либо, не посоветовавшись с Густавом. И всё равно его друг раздражался, если Мартин отказывался играть в домино или пить в начале лета пастис, ссылаясь на то, что Ивонн нужно срочно помочь разобраться с Германом Гессе.

– Ну, вот, – произносил Густав тоном, в котором слышалось «и ты, Брут».

– Но мы же увидимся завтра, – говорил Мартин.

– Конечно.

– Ей действительно нужна помощь с этим эссе. Она вбила себе в голову, что Гессе был нацистом, так что положение, я бы сказал, серьёзное.

– О'кей.

– О'кей?

– Я же сказал, о'кей.

– До завтра.

– М-м-м...

\* \* \*

Утверждать, что Мартин в гимназические годы кого-то любил, можно лишь с большой натяжкой. Возможно, он влюблялся, что подразумевало лихорадочную вспышку с последующей бессонницей, головокружением и сбивчивым мышлением. Впрочем, он быстро приходил в себя, и выключение системы происходило так же резко, как и запуск. Так было с (кажется, её звали) Анной – через месяц после знакомства он понял, что говорить им не о чем. Так было и с Ивонн, которая, конечно, была красоткой и всё такое, но, представив их вместе через три года, он почувствовал тяжесть в груди и шум в ушах – и спустя несколько дней сказал ей, что видеться им больше не стоит.

– Ты расстаёшься со мной? – взвизгнула Ивонн.

– Мы, по сути, и не встречались, – ответил Мартин.

Он подолгу препарировал природу любви, растянувшись на зелёном диване дома у Густава, водрузив себе на грудь бокал джин-тоника и зажав между пальцами сигарету. А Густав тем временем экспериментировал с маслом и эпизодически что-то мычал в ответ. Иногда рассуждения Мартина венчались выводом о том, что любовь есть иллюзия, созданная и поддержи-

ваемая капитализмом, «опиум для народа, так сказать», а вера в то, что два человека должны полностью принадлежать друг другу, – это отголосок барочных представлений, и от неё нужно освободиться.

– И тебе действительно будет всё равно, если твоя девушка переспит с другим? – спрашивал Густав.

– Нет, конечно. Именно поэтому я и говорю, что нужно *освободиться*.

В другой день, пристально наблюдая, как растёт столбик пепла горящей в руке сигареты (от никотина, если честно, его всегда немного подташнивало), он говорил:

– Мне кажется, что рано или поздно ты встретишь кого-то особенного, и вы останетесь вместе, и это произойдёт само собой. Альтернатив просто не будет.

Помолчав, Густав сказал:

– Да. Увы, это так.

Из всех своих гимназических подружек он запомнил только Йенни Халлинг, наверное, потому что написал об их отношениях почти двадцатистраничный рассказ. Густав оценил его так: «Нормально, только с самокопанием слегка переборщил».

Они записались на один и тот же курс по выбору – киноведение, чуть ли не единственный предмет, на который он ходил без Густава, – и подружились после разговора о Скорсезе. Никаких скрытых намерений у Мартина не было. Обычно он обращал внимание на девушек совсем другого типа. И это отнюдь не была какая-нибудь случайная *laissez-faire*<sup>17</sup> история, когда рядом нет никого более подходящего, а впереди долгая и скучная зима. Йенни приехала из Умео, у неё был тихий голос, улыбка, похожая на лунный серп, и круглые очки, почти такие же, как у Густава. Она носила большие свитера, джинсы и обувь без каблучков и производила впечатление приличного человека, что не всегда соответствовало правде, потому как иногда она просто шутки ради воровала что-нибудь в магазинах, а напившись, лазала по заборам и водосточным трубам.

Ещё до того, как они переспали, он подспудно знал, что это будет ошибкой. Они посмотрели «Сияние» в «Палладиуме», Йенни пришла в восторг – а потом спросила, не хочет ли он обсудить фильм, и они отправились в её комнату в общежитии: девятнадцать метров, все стены в киноафишах, импровизированная штора из куска ткани.

– Разумеется, ты на что-то рассчитывал, – сказал потом Густав.

– Нет, это не так.

Оказалось, что у неё припасено несколько бутылок вина. Проигрыватель кружил пластинку Нины Симон. Места для обеденного стола в комнате не было, и, чтобы съесть спагетти с рыбными палочками – Йенни приготовила еду на общей кухне, – одному нужно было сидеть на стуле за письменным столом, а второму на кровати. Потом Мартин переключался на кровать, потому что сидеть на стуле с решетчатой спинкой неудобно, а кроме кровати, пересаживаться было некуда.

Йенни пребывала в прекрасном настроении, смеялась и, о чём-то рассказывая, жестикулировала с несвойственной для неё экспрессией. Нину Симон сменила Джоан Баез. Открыли третью бутылку. Их лица оказались совсем рядом. И в какой-то момент наступила та многозначительная тишина, которую нельзя игнорировать, которая требует реакции.

И здесь Мартин должен был зевнуть, потянуться и сказать, что пора и честь знать. А потом обуться, надеть пальто и уйти.

Но вместо этого он её поцеловал.

---

<sup>17</sup> *Laissez-faire*, принцип невмешательства – экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным; в переносном смысле «естественная свобода».

Йенни могла создать предпосылки – поздний вечер, *tête-à-tête*, вино – и тянуть до момента, когда другого выбора не оставалось, но она никогда не сделала бы решающий шаг. Да и можно ли было этого избежать? Разве такое развитие событий не определилось уже в тот миг, когда он сел рядом с ней на первом уроке киноведения? Когда они выходили покурить на переменах? Всегда вдвоём. Что само по себе неудивительно, потому что остальные в их группе были либо занудами, либо парочками, записавшимися на курс исключительно, чтобы тискаться на задних рядах в темноте под «Семь самураев».

Она отставила в сторону бокал и сцепила руки у него на шее. Дальше всё произошло сообразно той внутренней логике, по которой сменяются аккорды мелодии, сообразно тому неумолимому порядку, на который ты откликаешься всем своим существом, повторяющемуся с небольшими вариациями в разных произведениях, звучащих снова и снова.

– Это был просто вопрос времени, – сказал Густав, выглянув из-за холста.

– Ты так считаешь? Я ведь действительно пытался понять... И знаешь, это не было чем-то продуманным...

– Конечно, не было.

– ...но как бы... это не то чтобы судьба, но этого нельзя было избежать. А раз так, то пусть это произойдёт сейчас. Да? Какая разница. Мне кажется, я должен ей позвонить. Она мне не звонила, – он вздохнул. – У тебя там мои сигареты. Брось сюда, пожалуйста.

Густав оторвался от работы, поставил пепельницу на тумбочку рядом с диваном, а пачку и зажигалку положил Мартину на грудь. Потом вернулся к мольберту и, нахмурившись, начал рассматривать свою работу и в конце концов произнёс:

– О'кей, продолжаем, пока есть свет.

Поскольку Мартину было велено смотреть перед собой, Густава он не видел, а видел только окно с верхушками деревьев и большой кусок неба. Он вытряхнул из пачки сигарету, зажал её зубами и поднёс зажигалку и, закурив, сразу почувствовал благотворность плывущего дыма, словно подтверждающего, что в этом мире есть хоть что-то правильное.

– Я не говорю, что она непривлекательна, – произнёс он, выпустив дым. – Я как-то пропустил это в самом начале. Но у неё такая внешность, к которой нужно как бы немного привыкнуть. Не супердевушка, так сказать. И одевается как парень.

– Какой же ты плоский.

– Но приходится же о таком думать. Ты разве не обращаешь внимания на такое? Конечно-конечно, внутренний мир важен, бла-бла-бла. И всё равно я хочу встречаться с симпатичной девушкой.

– Лежи и не двигайся.

– Умной тоже, само собой. Помнишь эту из Шиллерской? Я чуть не умер от её интеллектуального убожества.

– Не всем дано достичь высот твоего стратосферического купола.

– Но она реально была полной дурой.

Густав смешивал краски на палитре.

Мартин пытался пустить кольцо дыма, без особого успеха.

– Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? – спросил он спустя какое-то время. – Я имею в виду, могут ли их связывать отношения, начисто лишённые сексуального влечения?

– Могут, наверное.

– Потому что у нас с Йенни это не получилось. Странно. Ведь я ничего не планировал. Это произошло, и всё. И всё равно мне кажется, что это подтверждает тезис «мужчина не может дружить с женщиной». Другое дело, если бы у меня были скрытые намерения, но, клянусь, я хотел только поговорить о Скорсезе.

– Хм-м...

– А оно произошло.

Они замолчали.

– Как бы было хорошо, если бы я мог в неё влюбиться. Я даже не знаю, верю ли я в любовь. Я, чёрт возьми, даже не уверен, что когда-нибудь был влюблён. Думал, что да, ну, ты помнишь – Ивонн. Но это был самообман. *Mauvaise foi*<sup>18</sup>. Мне всегда казалось, что любовь должна обрушиться на тебя – то есть в буквальном смысле *обрушить* тебя. Ты не знаешь почему, но понимаешь, что это оно, и оно правильно, даже если придётся преодолеть кучу сложностей, но ты, насколько я представляю, просто ничего не можешь с этим сделать. Потому что это не рациональный процесс, а нечто неуправляемое, хотя как бы было удобно, если бы ты мог этим управлять... Ты понимаешь, что я имею в виду?

– О да, – мрачно отозвался Густав.

– Вот что, Густав, тебе нужно отпустить эту француженку. Ты не можешь вечно по ней скорбеть. Тысячелетие целомудрия не сделает счастливым никого. – Он бросил Густаву пачку сигарет. – Ни тебя, ни её.

*Француженкой* её назвал Мартин, потому что Густав отказывался рассказывать о встрече, которая, судя по всему, произошла во время их ежегодного семейного отпуска. По возвращении он несколько недель был грустным и подавленным, и Мартину всеми правдами и неправдами всё-таки удалось заставить его признаться, что летом он пережил небольшой роман.

– И как её *зовут*? – настаивал Мартин, но Густав менял тему разговора. Сообщил только, что это случилось в Ницце. Но всё закончилось. Поначалу Мартин страдал вместе с другом, который был явно выбит из колеи, но потом сострадание превратилось в злость.

– Сколько ты ещё будешь хранить это в себе, – вырвалось у него однажды. – Я, чёрт возьми, твой лучший друг. Ты должен *рассказывать* такое мне, понимаешь? Ты не можешь вот так просто ходить сердитым и никем не понятым.

И поскольку Густав ничего не рассказывал о таинственной личности, ставшей причиной столь длительной печали, Мартин начал говорить сам. Безымянный объект страсти окрестил француженкой, а местом действия каникулярной блиц-драмы была, как известно, Ницца. Может, она бросила Бедного Художника Густава ради скользкого, не вылезающего из казино игрока, образ которого был заимствован из романа Уоллеса. Возможно, её высокородная семья заставила её покинуть город на яхте, и, пока судно не скрылось в открытом море, она, охваченная сладостной мукой разлуки, стояла у леера и наблюдала, как застывшая на пирсе фигура в чёрном становится меньше и меньше.

– У причала там есть маяк, – сообщил Густав, но не уверен, что его можно назвать *пирсом*...

Возможно, продолжал Мартин, она обещала писать. Возможно, она положила бумажку с адресом Густава в карман платья. Возможно, по этому самому пирсу они гуляли с Густавом в сумерках и...

– Я же сказал, там нет никакого пирса. Прекрати.

Но потом у Густава случился роман, и Мартин решил, что сейчас-то уж раскрутит его по полной, чтобы уравновесить чаши весов. Речь в некотором смысле шла о балансе. Сам он всегда рассказывал об Ивонн, Йенни Халлинг или девице из Шиллерской. А что Густав? Густав говорил о кистях из свиной щетины, о том, как надо смешивать масляные краски, о важности олифы и обо всём, что ему рассказывала учительница рисования после уроков. В итоге получалось несимметрично.

Но и на этот раз Густав ничего не рассказал, что, впрочем, Мартина не удивило. Но в этом молчании не было дискомфорта, с его помощью Густав нейтрализовывал Мартина, когда тот

---

<sup>18</sup> *Mauvaise foi* – ложь, в которой стирается различие между обманчивым и обманываемым в единстве одного сознания. Философская концепция, введённая Ж. П. Сартром.



снова вспоминал француженку. Мартин долго лежал, глядя, как ветер раскачивает верхушки деревьев за окном, и вообще ни о чём не думал.

– Если ты не влюблён в Йенни, продолжать не имеет смысла, – произнёс в конце концов Густав.

– Да. Не имеет, – вздохнул Мартин. – Я поговорю с ней. Слушай, ну как там с этой картиной? Мне уже хочется есть.

Мартин собрался с духом и решился на разговор с Йенни. Он был готов к слезам и ссоре, но, услышав, что им лучше остаться просто друзьями, она повела себя совершенно разумно и согласилась:

– Разумеется.

– Конечно. Да. Но... мы же встретимся во вторник?

Но она заболела и не пришла на последнее занятие, и Мартину пришлось смотреть выбранный большинством голосов фильм («Челюсти») в одиночестве, и не с кем было обменяться ядовитыми комментариями. Спустя несколько дней он заметил её во дворе и окликнул, но она не услышала, похоже, куда-то торопилась. И не пришла в «Синематеку» в ближайшую субботу, хотя там показывали Тарковского. После сеанса он отправился домой, а не в «Пэйли», куда они обычно приходили, чтобы обсудить увиденное и выпить кофе с меренговым рулетом.

Дома он начал было набирать её номер, но потом всё же повесил трубку.

## 4

Даже если Ракели Берг не нужны были новые книги, ноги всё равно приводили её в букинистический магазин «Рыжий Орм». На дворе стоял тёмно-синий мартовский вечер, улицы были покрыты льдом, а у освещённых витрин клубились снежинки. Они таяли на плечах, пока Ракель взвешивала на ладони одной руки книгу о Вене начала прошлого века, а в другой держала мобильный с недописанной эсэмэской: *Не уверена, что у меня хватит сил на вечеринку, устала и не спала.*

Сообщение она почему-то недописала.

Если она отвернется от приглашения Эллен, то купит пад-тай по пути домой, устроится на диване, загрузит какой-нибудь фильм Фассбиндера, чтобы поддержать в рабочем состоянии свой немецкий, а под занавес прочтёт несколько страниц из «По ту сторону принципа удовольствия» в оригинале на немецком. И это неотвратимо заставит её вспомнить о матери, которая была очень внимательна к словам.

– Всё и вся, – говорила Сесилия, сидя на корточках и помогая Ракели сложить дождевик, – можно извратить и потерять в переводе. Текст исказится почти незаметно. Читатель обязан быть начеку, иметь критический ум и всегда, насколько это возможно, выбирать оригинал, а не перевод.

То, что переводчик так резко отвергал перевод, да ещё и в разговоре с шестилетним ребёнком, могло показаться странным. Но Сесилия Берг так действительно говорила, Ракель даже помнила, как мать хмурила лоб – трудно сказать, то ли от осознания противоречивости своего ремесла, то ли оттого, что ярко-красная непромокаемая куртка была немного великовата, но всего одно ловкое движение – и она сворачивалась как надо по всей длине.

В общем, Ракель продерётся через несколько страниц «По ту сторону принципа удовольствия», издание 1920 года, уснёт и проснётся, чтобы заняться ровно тем, чем занималась сегодня – то есть пойдёт в библиотеку и будет писать эссе о теории Фрейда, о стремлении к повторению и так называемом влечении к смерти. Она занималась этим всю неделю и продолжит на следующей, перемежая это лекциями разной степени скудоумия о психологии личности.

А сейчас ей, конечно, позвонит Ловиса. И Ракель прекрасно представляла всё, что будет сказано.

– В смысле, *хватит сил*? – Она едет на велосипеде, несмотря на то, что идёт снег и скользко, рулит одной рукой и, естественно, без шлема. В багажнике пакет с алкоголем, в рукаве пальто болтается варежка. Ловиса напрочь отказывалась от варежек, пока не сообразила, что их можно привязать на шнурок и пропустить его в рукава, как у детей.

А Ракель скажет, что устала и у неё нет сил.

– Тебе просто не хочется, да?

– Нет, дело только...

– Но Эллен расстроится, если ты не придёшь. В конце концов, ей исполняется двадцать пять.

Когда прошлой осенью Ловиса познакомилась с Эллен, она всеми силами пыталась сделать из них троичку один-за-всех-мушкетёров, между которыми всегда царит единодушие. Затея была обречена, потому что изначально они были вдвоём, а превратить «два» в «три» без трения и искр нельзя. Ракель сразу нарисовала себе Эллен как коварную *femme fatale*, генерирующую вокруг себя атмосферу фильмов в жанре нуар: маслянистые чёрные лужи, неоновый свет и вечно тлеющая сигарета, независимо от погоды и времени суток в обычном мире. Реальная Эллен стала разочарованием. Её милое лицо плохо сочеталось с поджатыми губами. Эллен сыпала определениями вроде *смена парадигмы*, *постмодерн* и *герменевтическая интер-*

*претация* с видом благодетеля, подающего нищим серебряные монеты. Раз в месяц она меняла причёску, говорила на смеси смоландского со стокгольмским и крутила роман с парнем, которого называла Докторант. Ракель толком не понимала, что в ней, собственно, особенного. Возможно, она никогда не отказывалась пойти в подпольный клуб в помещении склада на Хисингене, в то время как Ракель сидела дома и подчёркивала важные места в учебнике или ела мороженое и смотрела «Горькие слёзы Петры фон Кант».

Ракель вздохнула, удалила черновик сообщения и заплатила за книгу. Гулявший по улице ветер забирался под пальто и шарф.

\* \* \*

Ловиса ждала у ограждения на Вогмэстарепплатсен. Свет уличного фонаря падал на её волосы – неизменный крашеный блонд. Снег так и не прекратился.

– Клянусь, я только что видела Александра, – сказала она вместо приветствия. Потом обняла Ракель, отставив в сторону сигарету, чтобы случайно не поджечь ей волосы. – Он появлялся? Он вернулся в город?

– Понятия не имею.

– Он мог бы навсегда остаться в Берлине. – Ловиса увидела тюльпаны, которые Ракель купила в универсаме «Ика». – Цветы! Гениально. Об этом я не подумала. Я купила бутылку.

\* \* \*

Приглушённые звуки веселья слышались уже в подъезде. Ловиса позвонила, подождала пару секунд и открыла дверь. На полу свалена обувь, вешалка ломится под пальто и куртками. Пританцовывая, появилась Эллен, издала преувеличенно радостный приветственный вопль и обняла их обеих. С близкого расстояния на её лице были хорошо видны крупинцы пудры, которой она маскировала следы от прыщей, ровная линия подводки и невидимки в причёске, взбитой на манер 50-х. Она пошла на кухню за водой для тюльпанов и жестом показала им следовать за ней.

«Я смогу быстро уйти», – подумала Ракель.

– Ну что, у меня снова драма, – сказала Эллен, протянув им по бокалу вина. – Я слышала, что она написала ему письмо. То есть в буквальном смысле – *письмо*. И просто оставила на кафедре в его ящике.

– В ящике Докторанта, – уточнила Ловиса. – Он получил любовное письмо.

– А-а...

Главная интрига, насколько поняла Ракель, заключалась в положении кнопки «включить/выключить»: Докторант проявлял нерешительность во всем, от выбора темы диссертации и до отношений с бывшей студенткой, которая чередовала эти on и off так часто, что даже Ловисе это слегка надоело.

– Он одновременно ведёт себя и как ребёнок, и как параноик, – вздохнула Эллен. – Мне кажется, с людьми из девяностых что-то не так. Они не чувствуют границ.

Прожив в городе два года, Эллен обзавелась таким большим кругом знакомств, будто жила здесь всю жизнь. Ракель задумывалась, как людям такое удаётся; а ещё она подозревала, что Эллен её недолюбливает, хотя доказательств этому не было.

– Тут ты несправедлива, – возразила как-то Ловиса. – Зачем ей тогда вообще с тобой общаться?

«Потому что я *полезное знакомство*», – хотела ответить Ракель, но промолчала. Ловиса всегда преувеличивала. Они подружились в старшей школе, когда никого не интересовало, чем занимаются родители друзей. И только став взрослой, Ракель поняла, что наделена транзит-

ной функцией и служит проводником к другим, более интересным личностям – эта функция запускалась не всегда, но достаточно часто, чтобы ей автоматически хотелось съёжиться при упоминании о том, что её мать – *та самая* Сесилия Берг, отец – издатель Берг из «Берг & Андрен», а крёстный – тут сложнее всего – художник Густав Беккер, самый известный из этой троицы.

Они прошли в гостиную, где собралось человек пятнадцать. Кто-то снова звонил в дверь. Вечеринка шла по известному канону. Первая фаза – когда люди ещё здороваются с вновь прибывшими гостями, ведут более или менее цивилизованные разговоры, удерживая в равновесии бумажные тарелки с едой со шведского стола – первая фаза ещё не закончилась. Эллен играла королеву, подданные, встав полукругом, одобрительно кивали.

– Можно было бы сказать, что нет ничего более исчерпывающего, чем дневники Нурена, – говорила Эллен. – Но у нас есть ещё один человек, просто изливающий себя на страницы, собранные в шесть томов. Я не утверждаю, что это нельзя назвать *хорошей литературой*. По сути, это типичный образец мужских литературных излияний. Излияния женщин превращаются в дрянь, о женщинах говорят, что они поглощены собой. Достаточно вспомнить Анаис Нин. Кто сегодня читает дневники Анаис Нин?

– Нин нужно рассматривать как предшественницу Кнаусгора, – сказал один из бывших одноклассников Ракели по курсу истории идей, слегка тучный юноша, косящийся под солидного господина, соответствующе экипированный, – у него даже трубка имела. Ракель допустила, что ремарка была напрямую связана с симпатией к Эллен.

– Анаис Нин, кажется, спала со своим отцом, да? – тихо спросила Ловиса.

– Да, и с двумя своими психоаналитиками, – ответила Ракель.

– И что, хорошая книга у неё получилась?

– Не очень. Кнаусгор лучше.

Ловиса скорчила мину – книги толще ста пятидесяти страниц она не читала – и, заметив приятеля, направляющегося на балкон, увязалась за ним, чтобы стрельнуть сигарету. Ракель поправила зацепившийся стежок на подоле платья, распустила и снова собрала волосы, обнаружила дырку на мыске колготок и, чтобы хоть чем-то заняться, пошла налить себе ещё вина. Она чувствовала себя здесь неловко, а тот факт, что чисто социологически это было не так, только ухудшал положение. На кухне она увидела смутно знакомую светловолосую девушку и попыталась придумать, что бы сказать, но, похоже, забыла, как надо общаться с теми, кого не знаешь. Девушка пришла на помощь:

– Ты ведь тоже изучаешь психологию? – спросила она глубоким и густым голосом, не сочетавшимся с обликом классической блондинки. Ракель сразу вспомнила: она из той группы, которая организовывала вечеринку по случаю начала учёбы, джазовый квартет и стоящее в университетском дворе старое пианино, на нём обычно играют эпатажные личности, жаждущие внимания в любой его форме, включая появление во дворе директора университетской клиники с требованием прекратить музицирование, которое мешает работе терапевтического отделения. Когда Ракель услышала её игру, она поняла, что та ни за что не стала бы брэнчать во время обеденного перерыва. Потому что она действительно умела играть.

– Да, верно, – кивнула Ракель. И, зная о её отношении к собственному мастерству, захотела сказать что-то приятное в ответ. Отец говорил, что людям льстит, когда их называют по имени. Имена и прочие подробности Мартин запоминал плохо, и перед каждой встречей обязательно повторял все детали. А когда соответствующий человек появлялся, Мартин встречал его улыбкой, распахнутыми объятиями, радостным рукопожатием и совершенно естественным образом восклицал: «Харальд – или кто там был, – мы *действительно* не виделись тысячу лет!» – и дальше по тексту. Спешно перебрав воспоминания – довольно размытые, потому что на той вечеринке было очень много джина по двадцатке за порцию, – Ракель сказала:

– Тебя зовут Юлия, да?

Юлия удивилась и обрадовалась. Они долго обсуждали преподавателей, эксцентричных или психически неуравновешенных однокурсников, учёного, который, по слухам, занимается экспериментальной парапсихологией в лаборатории, где раньше содержали крыс, нехватку микроволновок и то, что картины на кафедре, как будто специально отобраны с прицелом на секс или смерть. Потом в их разговор вклинилась Эллен.

– Простите, что помешала, – проговорила она, – Ракель, у меня есть друг-искусствовед, Арон, он пишет работу об Уле Бильгрене и Густаве Беккере. Я сказала ему, что ты с ним знакома, и он очень хочет с тобой поговорить.

В следующую секунду появился и обстоятельно представился, видимо, тот самый молодой человек. Юлия оставила их, кивнув – увидимся. Ракель попала.

Искусствоведу Арону даже при обилии волос – окладистая борода, густая чёлка – удавалось производить впечатление безупречной чистоты и опрятности. Рубашка была голубой, как раннее летнее утро. Он сжал её руку прохладными мраморными пальцами и начал подробно рассказывать о своей диссертации, посвящённой шведской живописи последних десятилетий, реализму вообще и гиперреализму в частности. Возможно, думала Ракель, пока он говорил, всё это уловка в несерьёзной игре свести-Ракель-с-кем-нибудь. Предпочтительнее с тем, у кого высший балл по всем предметам и кто в разговорах склонен ссылаться на великих. Этап номер один: интеллектуальная, ни к чему не обязывающая беседа. Этап номер два: он придумывает повод попросить телефон, исключительно с платонической целью, к примеру, у него есть кое-какие вопросы по Жаку Лакану. Позвонит он не сразу и как бы между делом, предложит выпить «по бокалу в “Кино”». А этап номер три обычно не наступал никогда, потому что к этому времени Ракель освобождала себя от любых обязательств, не отвечала на эсэмэс и сворачивала в сторону, если вдруг замечала соответствующего эрудита в библиотеке.

– Мне кажется, что я вас уже где-то видел, – сказал Арон, морща лоб, словно разглядывая провокационную, но любопытную картину.

Только полный идиот не заметил бы, что Ракель фигурирует в целом ряде работ Густава.

– «Люкс в Антибе», – предложила она. – Я – ребёнок. И на той большой, берлинской? Там тоже я, на улице в русской шапке-ушанке. Далее по списку.

Арон, похоже, не понял, что сплеховал.

– Какой он? – спросил он и наклонился ближе. – Как человек? – Ракель вспомнился приезд Густава в Берлин. У него там была выставка – в шикарной галерее, куда сама она никогда не рискнула бы зайти, – но он всё время бормотал что-то в духе «просто так сложилось». Повёл её в ресторан, вопил, что она очень худая, заказал устриц, не спросив, любит ли она их, сам не съел ни одной, а Ракель выжала лимон, сделала глубокий вдох и проглотила.

– Мир искусства, – вещал Густав, пока она пыталась подавить рвотный позыв, – так же беден духовно и так же падок на сенсации, как и всё прочее в этом проклятом столетии.

Сделав глоток, Ракель осмотрелась в поисках пути для отступления. Неясно, действительно ли Ловису интересовала стоявшая на столешнице рядом с ними коробка вина с дозатором или она интуитивно почувствовала, что ситуация приближается к критической. Как бы там ни было, Ловиса вмешалась в разговор:

– А-а-а, вы обсуждаете Великого Художника! – воскликнула она, после чего подалась вперёд, чтобы открыть краник с вином, которое тут же пролилось на платье Ракели, Ловиса быстро нашла им занятие: сначала велела обоим искать полотенце, потом заставила Ракель оттирать пятно, а сама пустилась в откровения и стала рассказывать, что тоже любит использовать «это связующее звено с культурной элитой», если надо к кому-нибудь подкатить.

– Представляешь, – обратилась она к Арону, и её личико эльфа озарилось улыбкой, – вот так встречаешь какого-нибудь интересующегося искусством симпатичного парня, который предлагает выпить красного вина и посмотреть фильм, снятый пьяным Сальвадором Дали и его пьяными друзьями, а ты с таким вот элегантным спокойствием берёшь и переключаешь

разговор на Густава Беккера. *Знал бы ты* – как тебя зовут? – Арон? – так вот, знал бы ты, Арон, насколько это беспроеигрышная тактика!

– О'кей... – сказал Арон.

– И не играет ровно никакой *роли* то, что на своей искусствоведческой кафедре они всеми силами пытаются выбросить это... как там оно называется... – Она в нетерпении щёлкнула пальцами.

– Фигуративное искусство? – подсказал Арон.

– Точно, – быстро кивнула Ловиса, хотя Арон мог, по идее, сказать всё что угодно. – Так вот, они в тридцать лет получают свой высший балл, доказывая, что фигуративное искусство – это дерьмо. И всё равно, стóит среднестатистическому искусствоведа столкнуться со знаменитостью, как он тут же превращается в дитя, увидевшее рождественскую ёлку.

Без церемоний всучив свой бокал Арону, Ловиса вытащила из заднего кармана джинсов коробочку с жевательным табаком. Кто-то из друзей подарил ей большую упаковку снюса, и, будучи экономной, она чувствовала себя обязанной использовать её до конца. Скатила табачный шарик и с некоторой степенностью сунула его под губу.

– Хочешь? – предложила она. Арон, принадлежавший, по-видимому, к тому типу мужчин, которые не оставляют в раковине ни единого волоса и не разбрасывают по полу грязные носки, покачал головой.

– Но это не про Ракель, – сказала Ловиса. – Правда же?

– Правда.

– Ты очень скромная, – произнесла Ловиса, положив руку на её плечо.

– Я бы даже сказала, чрезвычайно скромная.

– А эти сомнительные замашки свойственны всем нам прочим...

– ...черни, – проговорила Ракель, – *плебсу*.

– Но в отличие от всех нас прочих у Ракели есть кое-что и по материнской линии.

На челе Арона боролись замешательство и раздражение:

– Что-что?

– Читай, Арон, *читай* больше! – Ловиса забрала свой бокал у него из рук. – О боже, я думала, ты пишешь о Густаве Беккере? В таком случае ты должен был слышать о Сесилии Берг.

– Да, конечно. История идей. В каталоге Беккера, кстати, больше тридцати её портретов...

Наверное, подумала Ракель, он обсуждал свою работу со столькими людьми, что упакованные, как товар в магазине, фразы сыпятся из него без какой-либо привязки к «покупателю». Или, может, он всю жизнь старался быть прилежным учеником, а Ловиса в этой её манере магистра-провокатора сейчас с пристрастием спрашивает у него домашнее задание, которое не имеет никакого отношения к его реальности. Ракель посмотрела на дно своего бокала. Ловиса поправила комок табака под губой. И искусствовед Арон наконец сообразил, что ему не стоило просвещать дочь Сесилии Берг о числе портретов Сесилии Берг. Он замолчал, откинул назад свои красиво подстриженные волосы. На пальце сверкнул перстень.

– В последнем номере «Глэнта» была её статья... – начал было он.

Ловиса сквозь зубы издала специфически норрландское «да». Хотя всю жизнь живёт в гётеборгской Майорне.

– Старый текст. Кажется, девяносто пятого года, – сказал Арон.

– Девяносто шестого, – сказала Ракель и повторила: – Думаю, да, девяносто шестого.

– Что на самом деле с ней произошло? – Взгляд Арона блуждал по стенам кухни. Он переступал с ноги на ногу.

– Она исчезла, – сказала Ловиса.

– То есть как? – Он впервые посмотрел Ловисе в глаза.

– Пятнадцать лет назад она ушла и больше не вернулась. Что произошло, не знает никто.

– Это правда? – Наверное, он думал, что они его разыгрывают, потому что на его лице не появилось то испуганно-сопострадательное выражение, которое обычно вызывало упоминание об исчезновении Сесилии. Вместо этого он приподнял бровь и покрутил кольцо на пальце.

– Послушайте, я уже должен... Ракель, было приятно познакомиться, увидимся. – Он ушёл.

– Ну и тупица, – пробормотала Ловиса, как только он скрылся из вида.

– Я вообще ничего не имела в виду, – сказала Ракель и заметила, что сложила руки точно так же, как обвиняемый в сериале «Счастливчик Люк».

– Очень надеюсь. На эту свою бороду он тратит не меньше часа в день. – Ловиса вздохнула и покачала головой. – У Эллен есть очень странные знакомые. Слушай, а нам ей спеть не пора? – И, перекрикивая шум в кухне, Ловиса объявила: – Внимание, сейчас все споём в честь именинницы! Где она? Кто-нибудь её видел? Кажется, надо снарядить экспедицию на балкон!

## 5

Ракель нашарила рукой будильник. Четверть десятого. Застонав, она накрыла голову подушкой. Долгое время лежала с закрытыми глазами в ожидании, что тело нальётся приятной тяжестью, предваряющей сон, но мозг, увы, уже занялся реконструкцией вчерашнего вечера. Кто-то приготовил грог. А потом Ловиса врубила музыку на такую громкость, что даже Эллен была бы против, если бы не сидела на балконе и не рыдала из-за того, что Докторант так и не объяснился ей в любви. Ракель случайно оказалась рядом, и ей пришлось выслушать отчёт обо всех фазах его нерешительного ухаживания, после чего Эллен наконец высморкалась, объявила, что им надо потанцевать, и они пошли в гостиную, где Ловиса как раз поставила Глорию Эстерфан. Эллен вытирала слёзы и яростно двигалась под «Conga».

Без четверти десять. Ракель села в ожидании возможной тошноты. Кажется, от тяжёлого похмелья она будет избавлена. С громким треском подняла жалюзи. Небо было ярко-голубым, и, пока она плелась в ванную, солнце беспрепятственно заливало квартиру светом.

Зимой, когда светало уже после того, как Ракель уходила в школу, а темнело задолго до её возвращения из библиотеки, полумрак скрывал убожество её жилища. Но этим воскресным утром оно стало неумолимо очевидным. Грязная посуда оккупировала раковину, большую часть рабочей поверхности и приличный анклав на обеденном столе. Метровая стопка старых номеров «Дагенс нюхетер»<sup>19</sup> напоминала компактный форт. Плита покрыта следами бывших исторических битв. В гостиной хаос, вдоль стен толстый слой пыли. Книжный шкаф давно превратился в перенаселённый приют для беженцев, где, впрочем, внимательный глаз мог заметить намёки на *Ordnung* и *Disziplin* – попытки разделения томов на художественные, специальные и мемуары и тенденцию к алфавитному порядку – но постоянный приток новых экземпляров не дал системе прижиться, и книги лежали везде, где было свободное пространство.

Окна малогабаритной двушки на четвёртом этаже выходили, с позволения сказать, не куда-нибудь, а на два кладбища. Из кухни просматривалось еврейское, с его нагромождением старых могильных плит и куполообразными часовнями. За окнами спальни простиралось кладбище Стампенс, просторное и торжественное, надпись на воротах гласила: ПОМНИ О СМЕРТИ. Весьма подходящий призыв для старшеклассников, которые каждый день проходили мимо по дороге в школу (балбесов, вообще не задумывающихся об отведённом им сроке). А для Ракели это был повод вспомнить латынь. «*Memento mori*», – думала она всякий раз, когда трамвай проезжал мимо кладбища.

Ракель забрала в прихожей свежую газету, лежавшую на стопке конвертов. Обнаружила половину упаковки бекона и поджарила его в последней чистой сковородке вместе с яйцом и перезрелым помидором. Хлеб был несвежий, но тостер это сгладит. Она выпила кофе и прочла раздел культуры. Минутная стрелка показывала почти половину одиннадцатого. Тело уже зудело, дальше будет только хуже. На полях нерастраченного времени разворачивалось воскресенье – так, как ему положено. Повязав шарфы и натянув шапки, люди пойдут гулять в Слоттскуп, будут умиляться подснежникам и сидеть у южной стены, закрыв глаза и подставив лица новорождённому солнцу, и, разругавшись, пойдут домой в голубовато-розовых сумерках, прошитых россыпью бледных звёзд.

Ракель решила пойти в библиотеку. Как всегда, быстро привела себя в порядок, хотя могла и не торопиться. Приняла душ, причесалась и собрала волосы в хвост. Краситься не захотела. Занялась поисками самого тёплого свитера и в итоге вытащила его из завалов газетницы рядом с диваном. Положила в рюкзак ноутбук и книги. Посмотрев на уличный термометр

<sup>19</sup> «Дагенс нюхетер» – крупнейшая дневная газета Швеции.



за окном, решила, что ещё достаточно холодно для зимнего пальто. Зашнуровала ботинки. На коврике в прихожей рядом с нераспечатанными конвертами заметила немецкий роман, который просил прочитать отец, взяла с собой и эту книгу. Она, по крайней мере, тонкая. Можно просто пролистать и попробовать оправдаться нехваткой времени. Хотя все её протесты всё равно заканчиваются тем, что она позволяет себя уговорить.

\* \* \*

Гуманитарные кафедры располагались вокруг Нэкрусдаммен <sup>20</sup>, большая часть зданий построена в восьмидесятых – сплошной кирпич, линолеум в коридорах и аудитории, неотличимые от классов в старшей школе. Впервые оказавшись здесь, Ракель ходила по этажам, разыскивая старый кабинет матери. Картины, нарисованные в памяти, не вполне соответствовали реальности, и ей так и не удалось найти помещение, которое фигурировало в воспоминаниях, то ускользающих, то чётких. Среди табличек с именами она искала профессора, который был у матери научным руководителем, но он, как оказалось, вышел на пенсию. В фондах библиотеки нашлись книги Сесилии, университетские издания в тёмно-красных или коричневых переплётах, название и имя автора набраны шрифтом без засечек. Судя по внешнему виду, их до сих пор регулярно читают.

После окончания гимназии прошло пять лет, и всё это время Ракель училась в университете, потому что ей казалось, что именно для этого она и создана. Ей всегда нравилась теория, нравилось наблюдать, как хаотичная реальность упорядочивается в удобных категориях, как абстрактные понятия вскрывают внешне окаменевшую суть. Но в какой-то момент теория всегда упиралась в границу, исчерпывалась, становилась недостаточной – и тогда Ракель покидала эту территорию, унося с собой всё, что здесь оказалось полезным. Перед поступлением её интересовала математика, потому что математическая вселенная представлялась ей бесконечной и безупречной (а ещё потому что она посмотрела «Игры разума» и воображала себя на месте героя – среди дубовых панелей, одетая в тёмно-зелёный вельвет, она нервно курит сигарету за сигаретой и в порыве вдохновения чертит белым карандашом на стекле замысловатые знаки). Но карьера математика рухнула под собственной тяжестью – даже построение графиков давалось ей в гимназии с большим трудом, – и Ракель свернула на гуманитарную стезю. Она получила шестьдесят баллов по истории идей («неудивительно, ты же дочь Сесилии»), прослушала два дремотных вечерних курса латыни, несколько семестров изучала литературоведение и немецкий, сначала в Гётеборге, потом в Берлине. Всерьёз задумалась об археологии, но на горло этой песне наступил отец («а на что ты собираешься жить, Индиана Джонс?»). И тогда она выбрала психологию. В конце концов, человеческая психика – это комбинация закономерностей бесконечного космоса и осколков собственного прошлого.

– Психология? – произнёс Мартин, как будто она объявила, что собирается стать циркачкой и будет всю жизнь жонглировать горящими факелами. – О господи, почему? Ты нашла наконец применение своим литературным способностям? – сказал он. – Будешь выписывать рецепты и вести журнал обхода палат? «Пациент такой-то неряшлив»? Ты уверена, что не хочешь продолжить заниматься историей идей? Или латынью?

– *Amor fati* <sup>21</sup>, – ответила Ракель, но отец, по-видимому, последний раз читал Ницше в восьмидесятых. Он сделал вид, что не услышал.

В это мартовское воскресенье в библиотеке было пусто и тихо. Ракель обычно садилась либо в читальном зале, если была готова встретить кого-нибудь из знакомых, либо за укромный

<sup>20</sup> Нэкрусдаммен – пруд на территории гётеборгского парка Рэнстрёмспаркен.

<sup>21</sup> Любовь к судьбе (*лат.*). Одно из понятий философии Ницше.

рабочий стол в библиотечных хранилищах – если хотела избежать встреч. Именно по дороге к хранилищам она и заметила между стеллажами сутулую фигуру, расположившуюся на стрелке со стопкой книг на коленях. Она узнала его не сразу:

– Эммануил?

Эммануил Викнер вздрогнул и посмотрел на неё, его нижняя губа блестела от слюны. Переход от растерянности к узнаванию слегка затянулся, Ракель успела испугаться, что он её не узнает. Как глупо – в последний раз они виделись на Рождество. Надо было на всякий случай сказать «дядя Эммануил».

– Ракель! – произнёс он наконец. – Ракель, дорогая, это ты? В такой день? – Он спешно встал, чтобы обнять её.

В последние годы угадывать возраст Эммануила Викнера становилось всё труднее. Он был на десять лет моложе матери Ракели и раньше занимал странное срединное положение – ещё не вполне взрослого, но уже определённо не ребёнка. Сейчас черты его лица утратили остроту, а взгляд зоркость. Редущие светлые волосы венком окружали лысеющее темя. Стройное и ловкое, как у сестры, тело стало бесформенным, как будто каждый прожитый день изменял его очертания. Одет в разные оттенки бежевого, что производило бы невыразительно-блёклое впечатление, если бы не ярко-красный платок, задрапированный вокруг шеи, как у римского императора.

– Что ты читаешь? – спросила она.

– О, ничего, ничего. Весной я всегда начинаю думать о диссертации. – Он положил книги в стоявшую рядом тележку. Ракель заметила, что там были в основном Р. Д. Лэйнг и Вильгельм Райх, а ещё «Тибетская Книга мёртвых».

– Высвобождаясь из крепких объятий зимы, начинаешь думать о будущем. Опасное время года. Лёд тает, и всё становится возможным. И если я сейчас случайно объявлю о своих грандиозных планах, будь добра, напомни мне, что королём я буду чувствовать себя всего две недели, а все оставшееся время буду мучиться, причём не только из-за собственно творчества, но и потому что все эти явно не самые интересные мысли придётся додумывать до конца.

– Договорились, – ответила Ракель. Она не припоминала, чтобы Эммануил когда-нибудь собирался писать диссертацию, и не представляла, на какую тему он мог бы её написать. Когда-то давно он начинал изучать медицину, а потом занялся фотографией. Бабушка оборудовала ему тёмную комнату, а снимал он, помнится, всяческую еду, очень крупным планом. Когда он задумался о научной работе?

– Это всё проделки свежих весенних ветров, когда погода нашёптывает, – объяснил дядя. – Ты действительно собираешься тут сидеть?

В качестве алиби она предъявила старый экземпляр *Jenseits des Lustprinzips*:

– В универе задали.

– Вот так! Великий Зигмунд! Это хорошо, что вам дают полноценное образование. Вы должны быть во всеоружии. Там на улице все сумасшедшие, вот что я тебе скажу. Но кофе-то ты выпьешь? Твой старый дядюшка будет счастлив.

Выбора не оставалось, Ракели пришлось пойти в кафе и позволить ему заплатить за её кофе в одноразовом стаканчике и пончик с яблочной начинкой – потому что ему, очевидно, самому очень хотелось съесть такой – и выйти вслед за дядей на яркое солнце. Пруд был всё ещё покрыт льдом, под которым просматривались прошлогодние кувшинки. Извилистые ветки рододендрона были голыми у корней, а стволы огромных дубов покрывал мох. Серёжки лещины переливались жёлтым. На другом берегу располагалась игровая площадка, и детские голоса, звонкие и нежные, освобождённые от слов, взмывали в небо.

Эммануил предложил пойти к его любимой скамейке, с которой открывается прекрасный вид. У воды стояло с полдюжины скамеек, особой разницы между ними Ракель не увидела, но услышала собственный голос, произносящий «да, конечно, здесь и вправду замечательно».

– Бог ведает, – вздохнул не умолкавший ни на миг Эммануил, возвращаясь к своей потенциальной диссертации, – но, если я сделаю что-нибудь толковое со всеми этими моими гуманитарными знаниями, мамочка будет просто на седьмом небе от счастья. Она обрывает мне телефон, уговаривая переехать в Стокгольм. Заманивает собственным флигелем в том роскошном месте. Я объясняю, что у меня масса работы в связи с исследованием и я не могу никуда ехать, но она намекает, что может урезать финансирование моего диванного существования. Вот как-то так.

– О-о, – выдохнула Ракель.

– К счастью, мой психоаналитик, мудрая женщина, абсолютно уверена, что возвращение в лоно семьи негативно скажется на моей личностной проблематике. Я, видишь ли, читал кое-что, и должен сказать, что эта страшная заикленность на эдипальном, то есть на любовном треугольнике, то есть ты сам и объект твоей любви, и тот другой, то есть отец, или – с большой буквы – Отец. Вопрос, в какой мере индивид действительно индивидуален, всегда остаётся без ясного ответа.

– Ну, – сказала Ракель, – эдипов комплекс – это центральное понятие у Фрейда...

В современном сознании он превратился в примитивную формулу, которую люди связывают, в общем, со всеми подряд психоаналитическими теориями девятнадцатого века, подумала она и откусила большой кусок пончика только для того, чтобы ничего больше не говорить. *Он хотел убить своего папу и переспать со своей мамой*, словно всё это детективная головоломка à la Агата Кристи, направленная на поиск невротической симптоматики, и в конце все соберутся вместе – папа, мама, крошка Ханс, няня, господин К, госпожа К и в углу великий ученик К. Г. Юнг – и доктор Фрейд начнёт разбираться в перипетиях запутанной семейной саги.

– Я рад, что ты этим занимаешься. Знаешь, я разговаривал с теми, кто говорит, что я должен *правильно дышать* и составлять различные списки. Я должен только что-то делать, делать, делать. В то время как необходимы мысли. То есть не просто конкретные мысли, а их форма и структура. Хотя, с другой стороны, меня это совсем не удивляет, Ракель. Ты всегда понимала что к чему. Это у тебя от матери. Ты же знаешь, из всех нас самой умной была Сесилия. Печально, но это так. Мне бы хотелось сказать, что это я. Петер – мастерский подражатель, а Вера неплохо справляется за счёт внешности и обаяния. Ты не будешь доедать пончик? Нет, спасибо, я не хочу... хорошо-хорошо, если ты настаиваешь. *М-м-м*. Волшебная кондитерская. Который, кстати, час?

– Половина двенадцатого.

– Половина двенадцатого! Мне уже нужно идти.

Он шёл так быстро, что полы пальто разлетались в стороны. Ракель сидела на скамейке и пила кофе. Солнце обнимало её голову и плечи.

## 6

Протаскав с собой подсунутый отцом роман почти неделю, Ракель наконец открыла его, расположившись в кафе «Сигаррен», надеясь, что географическая близость издательства разбудит в ней чувство долга, достаточное для исполнения обещания. Проблема заключалась не в самом чтении. Ракель, в отличие от многих других, в Берлине действительно потратила время на то, чтобы как следует выучить язык. Дело было скорее в энтузиазме Мартина, внезапном и поэтому подозрительном. Когда она выбрала в качестве второго языка немецкий, отец сказал: – Конечно. Хорошо. Отлично. Стратегический выбор.

А когда начала изучать французский в гимназии, он откопал все свои любимые французские романы, подробно рассказал, как в незапамятные времена переводил Маргерит Дюрас, и вручил стопку видеокассет с классикой «новой волны». Ракель успела посмотреть только «Четыреста ударов», прежде чем кассета застряла в старом видеомагнитофоне. Тогда Мартин купил фильмы на DVD, заметив, что можно совершенствовать язык, отключая субтитры, но французский на тот момент Ракель учила всего семестр, уровень знаний не успел подняться выше фраз вроде *Je m'appelle Rachel* и *J'habite à Göteborg*, и в диалогах Трюффо она ничего не понимала.

Но как только появлялось что-то, способное связать её с издательством, начиналась совсем другая история. В данном случае очень кстати пришлось её лингвистические способности.

Отец, похоже, испытывал реальное счастье, если она выступала в качестве редактора-рецензента. Он утверждал, что очень ценит её отзывы, но Ракель иногда казалось, он говорит это только для того, чтобы как-то подключить её к деятельности «Берг & Андрен».

Она рассматривала книгу. Всего двести страниц, это плюс. Красивое издание – ещё один плюс. А вот название никакое: *Ein Jahr der Liebe*. Слово «любовь» для названия вообще ненадёжно. До дыр истёртое и утратившее всякий смысл.

Вместо того чтобы открыть книгу, она посмотрела в окно. Если достаточно долго наблюдать за площадью из окна «Сигаррен», наверняка увидишь ревю с участием персонажей твоего собственного настоящего и прошлого. Так было и сегодня: вон Эллен быстро идёт к остановке, и огромный портфель стучит о её бедро. Вон тип, с которым у Ловисы был короткий роман, катит на облегчённом велосипеде с белыми шинами и без тормозов. Вон бывший одноклассник, который, по слухам, набил у сердца татуировку «414», но не учёл сосок, и теперь тот неприлично торчит из последней четвёрки. А вон с поникшей головой тяжёлой походкой ковыляет Макс Шрайбер, старый друг матери. Он постоянно появлялся у неё в кабинете, и Ракель его боялась, пока он не дал ей апельсин и не рассказал дурацкую сказку, а она притворилась, что из таких сказок уже выросла. Кажется, науку он бросил и стал психологом, в школе иногда упоминают его имя. Ракель подумала, что ей, пожалуй, стоит использовать этот факт в какой-нибудь неизбежной дискуссии о Профессиональной Деятельности, на которой настаивает отец. Его последняя идея заключалась в том, что диплом психолога может пригодиться издательству, так как коммуницирование с тонко чувствующими авторами на всех этапах сочинительства требует такта и осторожности. А под клиническими исследованиями отец, по-видимому, подразумевал работу в психиатрической больнице. Но Макс ему нравился.

Ракель заставила себя сосредоточиться на задании. Кажется, роман о человеке, которого бросили, и он не знает почему. Прочитав несколько страниц, она вытащила мобильный, чтобы проверить незнакомое слово, но поймала себя на том, что вместо этого гуглит информацию о писателе. Интернет сообщил, что Филипу Франке сорок три года, на чёрно-белых снимках в прессе он был вполне себе ничего; ранее написал три романа, которые не вызвали боль-

шого интереса, а нынешняя книга недавно номинирована на литературную премию. То есть всё вовсе не так безнадежно.

Она прочла ещё полстраницы и подчеркнула несколько непонятных формулировок, но в груди вдруг появилась тяжесть, стопы онемели, а все звуки стали очень резкими: стук и шипение кофемашины, голос комментатора, доносящийся из расположенного над дверью телевизора, по которому показывают бега, громогласная женщина у мойки – Ракель больше не могла думать, а последнее предложение исчезло где-то в космосе.

Она захлопнула книгу и снова посмотрела в окно. Впереди вечер, и его нужно как-то прожить. Можно пойти в библиотеку. Если пешком, то отсюда до университета полчаса минимум. Но в библиотеку она ходит, не пропуская ни дня; нет, вспомнить, когда она в последний раз *не* ходила в библиотеку, не удалось. А если не в библиотеку, то куда ты, Ракель Берг, можешь пойти?

Поддавшись порыву, она отправила Мартину эсэмэс с вопросом, не одолжит ли он ей машину. Она может поехать в загородный дом. Дел у неё там нет – дом сейчас стоит пустой, с закрытыми ставнями, – но это будет что-то другое, новый поворот в течении дней и недель, почти не отличающихся друг от друга. Встать рано. Принять душ. Одеться. Позавтракать. Доехать на трамвае до университета. Отсидеть на лекциях с девяти до двенадцати. Отстоять очередь к микроволновке. Придумать причину и отправиться в библиотеку, отказавшись идти куда-то с однокурсниками. Поговорить со знакомыми, пересечения с которыми избежать не удалось. Все же так хотят общаться. Все становятся друзьями. Устраивают вечеринки. Ходят вместе пить пиво. Собираются у кого-нибудь дома, чтобы готовиться к экзаменам – Ракель, ты придёшь? Эти чёртовы студенты-психологи с вечно склонённой набок головой и уже окрепшей морщинкой на лбу, хотя проучились всего пару семестров и до встреч с собственными пациентами ещё очень далеко. *Ой*, неизменно звучало в ответ, если речь заходила о Сесилии, а это рано или поздно случалось, особенно среди тех, чьим любимым занятием был анализ собственных чувств, мыслей, впечатлений и опыта, словом, всякого пригодного для препарирования движения души. В итоге ей так или иначе приходилось обнародовать тот факт, что её мать однажды приняла решение бросить мужа и детей, ушла и не вернулась. «*Я понимаю*», в очередной раз слышала Ракель. Но она не вполне представляла, что именно способен понять другой. И не хотела выглядеть идиоткой, переспрашивая и уточняя. Они думают, что у неё травма? Что ПРЕДАТЕЛЬСТВО причинило ей ВРЕД и это, возможно, останется с ней навсегда? И ей самой нужно срочно начать курс психотерапии? На чём основывается, пыталась определить Ракель, это их тёплое, сострадательное участие?

Одну вещь она усвоила ещё в детстве: важно, кто тебя бросил, мать или отец, и это далеко не одно и то же. Оставившего семью отца можно понять. Возможно, его позвал Дин Мориарти, и он отправился по горам и долам вселенной, как в известной «библии» всех бродяг пятидесятых. Он мог ловить кайф с Алленом Гинзбергом и жить, ни о чём не думая. Искать приключения. Встретить новую женщину, завести новых детей и жить с ними, пока зов беспокойной крови снова не выманит его в дорогу. От некоторых мужчин ждут именно такого поведения. Очередная женщина скандалит, хлопает дверью, но на смену ей всегда приходит новая, уверенная, что она-то уж направит его наконец на Истинный Путь.

А уравнение нерешаемое, потому что движущей силой Дина Мориарти служит именно тот факт, что он *никогда и нигде не останется*. Дин Мориарти не будет Дином Мориарти, если после нескольких дней без выпивки всё его тело не начнёт чесаться, и, если в тот момент, когда его подруга забеременеет, перед ним не замаячит каменная пустыня – неминуемая смерть под названием Семейная Жизнь.

Исчезнувших отцов полно. Лузеры-алкоголики. Творческие натуры, ценящие свободу превыше всего. Не терпящие постоянства соблазнитель. Мятущиеся души, терзаемые собственными демонами. Всех их можно обвинить в безответственности, но при этом их можно

понять. Но бросившая семью мать – это *нечто иное*. Осознав это, Ракель почувствовала, что её обманули. Она как будто бежала по бескрайнему полю и вдруг упёрлась в забор. Ей тогда было лет одиннадцать-двенадцать. Об исчезновении Сесилии уже знали и знакомые, и в школе, но для обсуждения и осторожных расспросов ещё прошло слишком мало времени. Речь всегда заходила об одном и том же: как она могла бросить детей? И хотя при Ракель взрослые не говорили это прямо, Ракель постепенно поняла, что именно этот вопрос всегда витал в воздухе, оставаясь без ответа и предположений, что, собственно, и породило в ней злость. Как доказать, что Сесилия не просто негодяйка, которой всё надоело и она ушла? Ушла от рутинной и скучной жизни туда, где больше свободы и радости? Что у неё не осталось физических сил разобраться с последствиями – развестись, найти новое жилье и забирать детей к себе каждую вторую неделю? Что она просто отказалась от ответственности? Конечно, Ракель не верила, что всё было именно так, и с трудом представляла собственную маму в роли Дина Мориарти, но образ Дина Мориарти всё же был предпочтительнее полного непонимания. Впрочем – и это был её главный козырь – большинство людей, рассуждавших об исчезновении её матери, *не знали Сесилию Берг*. И не могли судить, способна ли Сесилия Берг, взглянув на солнечный закат, сесть в машину и, взбив колёсами гравий, умчаться вдаль под разрывающий динамики голос Спрингстина. Они не знали, какой у неё был характер, у них не было оснований объяснять её поступок некоей нестабильностью психики. Удивительно, насколько люди подчас бывают глупы. На лоб им заползает та самая морщинка терапевтической заботы, и ты буквально слышишь, как где-то начинает тикать: бедный ребёнок, такая мать, что с ней было не так, как же она *могла*? Учителя, родители одноклассников, бывшая подруга отца – все пытались показать, что они на стороне шестнадцатилетней Ракели.

– Как же она могла бросить детей? – воскликнула как-то за ужином подруга отца, не заметив, что Мартин покачал головой и жестом попросил её не продолжать.

– На этот вопрос есть множество ответов, – произнесла Ракель и отложила в сторону нож и вилку. Она уже выросла и знала, что чувствами управляют слова и что владеющий словом способен победить всё что угодно – себя самого и других, выиграть любой спор и доказать любую идею.

На самом деле, сказала тогда Ракель подруге отца, искать нужно не ответ, а *вопросы*. Ответ ничего не изменит. Только новый вопрос позволяет двигаться вперёд. А каждый вопрос, в свою очередь, порождает новые вопросы или содержит в себе множество более мелких вопросов, и кроме того, всегда полезно задавать вопросы к вопросам, например, к вопросу «как она могла бросить детей?» можно задать целую массу дополнительных вопросов. То есть этот вопрос сам по себе не лишён внутренней проблематики. Он, к примеру, характерен для патриархального общественного уклада, в котором определённые вещи воспринимались как единственно возможные и естественные. Какие? Ну, например, считалось, что эмоционально женщина привязана к детям сильнее, чем мужчина. У знакомой отца есть собственное мнение на этот счёт? Мы будем рассматривать биологический или социальный аспект? Если речь о биологии, то существует ли особый ген родительской привязанности? Существование такого гена доказано или это только гипотеза? Можно ли, в принципе, всё объяснить генетикой? А если мы берём социум, то давайте допустим, что мнение о том, что мать привязана к ребёнку сильнее, а отец слабее (в силу чего отцы и удирают от семьи под аккомпанемент «Born to Run»), – это искусственно созданная конструкция, а если так – её можно разобрать и попытаться сконструировать нечто новое. Таким образом – подвела итог Ракель, – учитывая неисчерпаемость порождаемой проблематики, можем ли мы вообще что-либо понять наверняка?

Словом, задумываться над лежащим в основе простым вопросом «как можно бросить того, кого любишь?» не имеет вообще никакого смысла.

Звякнул колокольчик над входной дверью, и в кафе зашёл самый громогласный из завсегдатаев: на поводке собака, в руках сумка с логотипом театра Dramaten. Ракель начала спешно собирать вещи. Остаться здесь больше нельзя. Она возьмёт машину и поедет за город.

\* \* \*

Когда сломалась их старая «вольво», Мартин купил новую, хотя особой нужны в огромном багажнике, да и в самом автомобиле у него не было. По городу он перемещался на велосипеде, без шлема, с портфелем в багажной корзине, а зимой на трамвае или пешком. Но он, по-видимому, считал, что у семьи должна быть машина, хотя бы для того, чтобы просто удовольствия ради ездить на пикники, а о том, что Ракель должна получить права, Мартин начал думать сразу же, как ей исполнилось шестнадцать.

Едва она включила зажигание, в динамиках загрохотала Imperiet. Ракель выключила музыку, проверила ремень безопасности и, сдав назад, медленно выехала на проезжую часть.

У родителей матери была дача в нескольких милях от Гётеборга. Непрактично владеть домом, который похож на вороний замок и находится у чёрта на куличках – особенно учитывая, что они уже много лет жили в Стокгольме, – но семейство Викнер всегда отличалось подобной эксцентричностью. Насколько Ракель знала, прожили они в этом доме всего год, а потом её деду Ларсу пришла в голову светлая идея, которую он без промедления осуществил – уволился с академической должности в университетской клинике Сальгренска и организовал марш-бросок всей семьи в Стокгольм. Не уехала только Сесилия. Дом оставили как место проведения семейных торжеств и летнего отпуска. Предполагалось, что Эммануил, единственный из всех детей вернувшийся в Гётеборг, будет «присматривать» за домом, но у него, кажется, даже не было машины.

На скорости ниже установленной она проехала по трассе и второстепенной дороге, потом свернула наконец на грунтовую с её ямами и ползла по ней ещё добрую четверть часа. Дом стоял на отшибе у озера, окружённый диким садом, переходившим в лес. Большая двухэтажная деревянная вилла с высоким каменным фундаментом и многостворчатыми окнами. Наклонная черепичная крыша со слуховыми окнами и дымоходами. С обеих сторон фасада веранды из деревянных баласин, увитых увядшей жимолостью. Когда она выросла, папа обычно отправлял их с Элисом сюда на целое лето, приезжая по выходным, которые проводил, по большей части, расхаживая кругами по двору и общаясь по телефону, доисторическому суперпрочному мобильнику «Эрикссон», который выжил даже после того, как Ракель как-то швырнула его на пол.

– В типографии большие проблемы, – обречённо объявлял он последнюю новость о каком-нибудь долгом и сложном деле, которому все предрекали фиаско. Ему срочно нужно возвращаться в город, и он уезжал в воскресенье сразу после обеда.

– Я же руковожу компанией, старушка, – отвечал он на её протесты, – если меня нет на работе, никто другой за меня ничего не сделает.

Сейчас двор выглядел заброшенным, на ветру трепыхалась верёвка флагштока. Голые чёрные деревья, клумбы, засыпанные бурыми скелетами растений. Но в парнике прибрано, прошлогоднюю рассаду помидоров бабушка, видимо, выколола в рождественские каникулы. Ракель отыскала запасной ключ в сарае, где лежали стопки дров, которые нарубил Петер, ещё один её дядя, он называл колку дров высокоэффективной формой многофункциональной тренировки и почти все каникулы проводил с топором у колоды.

Скрипнула входная дверь.

– Есть тут кто? – крикнула Ракель в глухую тишину. Шаги по каменному полу сопровождало эхо. В холле она остановилась, не понимая, куда идти: она приехала, и что дальше.

Дом построил в начале прошлого века состоятельный фабрикант, занимавшийся текстилем, и мрачный портрет первого хозяина по-прежнему висел в библиотеке. Нижние помещения были просторными и предназначались для всех. В детстве их названия казались Ракели естественными и богоданными: Столовая, Большая комната, Большой холл, Малый холл, Библиотека, Кабинет, Ателье. Она никогда не задумывалась, почему Ателье называется Ателье, хотя никаких художественных материалов здесь нет, а только всякие ненужные вещи, вроде фисгармонии или ткацкого станка. Во всех комнатах лежали ковры, свидетельство недолгой карьеры Ларса Викнера в качестве импортера ковровых изделий, огромное количество которых осталось в доме, потому что почти ничего не удалось продать. Меблировка состояла из антиквариата и семейных реликвий, отобранных зорким взглядом бабушки Ингер и расставленных в продуманном порядке. Часть предметов попала сюда в те времена, когда Ларс был директором клиники в Аддис-Абебе: чашеобразные табуреты и стулья с узкими прямыми спинками, вырезанные из цельного дерева, словно церкви в Лалибэле, высеченные прямо в скале. Как все эти вещи доставили из Эфиопии в вестергётландскую глушь, оставалось загадкой, не говоря уж о том, как они прошли таможеню. Кроме того, Ингер привезла оттуда огромное количество золотых украшений, которые раздаривала по праздникам. Ей хотелось, чтобы это эфиопское золото стало символом сплочённой семьи и чтобы его носили все родственницы, но тётушка Вера ни за что не надела бы вещь, которая выбивается из канонов европейской эстетики, а Ракель вообще почти не носила украшений. Жена Петера Сусанна дала понять, что ей не нравится «этника», а Ингер отомстила ей, заявив, что у их виллы в Бромме «нет души». И только Сесилия носила на шее золотую цепочку и маленькую, не больше монеты в пятьдесят эре, подвеску, которая покоилась в её веснушчатой ложбинке на шее и не давала Ракели покоя. Перед сном ей обязательно нужно было снять длинные пластмассовые бусы, которые она сделала в свободное время, но у взрослых, кажется, действовали совсем другие правила. Мама никогда не снимала своё золотое ожерелье, она с ним и спала, и купалась в море и занималась всем чем угодно – в детских представлениях Ракели, всё это объяснялось привилегиями тайного мира взрослых.

Ракель побродила из комнаты в комнату, постояла у окна, глядя на знакомый озёрный пейзаж, потом поднялась наверх. Все кровати не заправлены, одеяла и подушки аккуратно сложены в изножье. Двери в комнатах для гостей приоткрыты. Хрустальные люстры укутаны в простыни.

Посидев в кресле на лестничной площадке и порывшись на полках стоявшего рядом книжного стеллажа (там обнаружились три превалирующих направления: Пауло Коэльо, пособия по садоводству и биографии женщин – лауреатов Нобелевской премии), Ракель встала. Дом её не успокоил, но она на это и не надеялась.

На обратном пути Ракель заглянула в полуразрушенный сарай. Когда дедушка увлёкся этой своей охотой на бабочек, доступ сюда был закрыт, и сейчас, шагнув в сумрак, она чувствовала, что совершает что-то запретное. На окнах въевшаяся грязь. На стенах развешаны дырявые сачки, рабочий стол заставлен инструментами, там же пара давно пустых ёмкостей от эфира – всё, что осталось от коллекции бабочек.

Ракель уже собралась закрыть дверь, но нечто в дальнем захламлённом углу привлекло её внимание. Это были несколько холстов, прислонённых лицом к автомобильной шине и накрытых байковым одеялом, один край которого соскользнул. Ракель подумала, что сарай не лучшее место для хранения картин, тут влажно и нестабильный температурный режим. Ингер и Ларс должны знать об этом. Она убрала одеяло и перевернула первую картину. И тут же отступила, прямо на какой-то детский велосипед, с шумом его опрокинув.

Это был портрет Сесилии. Юная, но совершенно узнаваемая Сесилия, реалистическое изображение широкими мазками. На картине стояла подпись CW.



## Базовое образование 2

### I

ЖУРНАЛИСТ: Что значила для вас литература в подростковом возрасте?

МАРТИН БЕРГ: Помимо того, что я тоже начинал с «Почтамта», как Чарльз Буковский? Кстати, это способствовало развитию языка. Ведь умение формулировать чрезвычайно важно, согласны? Тот, кто не способен выразить себя, оказывается в подчинении, и наоборот. Сейчас мне порой становится очень страшно, когда я вижу, как общаются молодые люди. Они не пользуются *языком*. Считают невежливым писать без смайлов и трёх восклицательных знаков. А подчас и вообще отказываются от слов и шлют друг другу непонятные картинки. Происходит нечто вроде инфантилизации письменного шведского, и на самом деле виноваты в этом не только подростки, поскольку... я думаю... что бы мы ни говорили... О чём вы спрашивали?

\* \* \*

Мартин проснулся от бьющего в лицо солнца. Футболка была мокрой от пота, щеку стягивала высохшая слюна. Он вскочил на ноги. Скрипнула скамейка, газета, лежавшая у него на животе, слетела на землю. Он поплёлся в дом выпить на кухне воды. Часы показывали четыре. Что он сделал за сегодняшний день – он взял свежий номер газеты и проверил дату – пятнадцатое июля 1981-го? Зевнув, выпил ещё воды.

Несколько дней назад родители и сестра ушли в море на яхте. Какое счастье избавиться от Кикки, которая слушает Duran Duran до одурения и часами болтает по телефону, унося его в самый дальний угол своей комнаты, куда еле достаёт просунутый под дверь телефонный шнур. С другой стороны, приходится самому себе готовить (спагетти с сосисками он ел уже три дня подряд). Но всё лучше, чем тихое присутствие мамы, которое всегда напрягало, а ещё нельзя было до обеда валяться в кровати. Как бы там ни было, именно этого он ждал несколько месяцев: лето, дома никого, можно бесконечно долго читать книги и писать. Конечно, он не рассчитывал, что Густав уедет во Францию, как, впрочем, и сам Густав.

– На два месяца, – сообщил он с поникшей головой. – Приговорён к наказанию в виде семейного отпуска.

– За что? У тебя же хорошие оценки.

На протяжении трёх лет Густав сразу менял тему, если речь заходила об оценках, и прятал проверочные работы сразу после их получения, однако в последнем семестре его вдруг охватила лёгкая паника:

– Не то чтобы *меня* это интересует, – объяснил он, – но бабушка волнуется.

Общим усилием воли они держались подальше от «Юллене Праг» и «Спрэнгкуллена». Мартин зубрил алгебру и взял шефство над растерянным Густавом, который теперь выступал в роли ученика. Мартин разыгрывал сцены из Французской революции, где превращался то в Марата, то в компанию разгневанных санкюлотов, то в Марию-Антуанетту, Луи XVI или Робеспьера, размахивая при этом бокалом и изрядно расплёскивая грог. Читал написанное Густавом вполне толковое эссе о Пере Лагерквисте, вплетая, где нужно, фразы, вроде «поэзия, посвящённая глубинам человеческой души». Целый вечер они обсуждали обстоятельства двух мировых войн (и только когда Мартин упомянул о выставке *Entartete kunst*<sup>22</sup> и пристрастии Гитлера к китчу, Густав проснулся). Объясняя Гомера, Мартин нарисовал весь ход Троянской

---

<sup>22</sup> Дегенеративное искусство (нем.).

войны в виде человечков на листе из самого большого альбома для эскизов («...это, значит, Прекрасная Елена, возможно, она не очень удачно получилась, но она реально была офигенной красоткой...»), они продирались сквозь бесконечные списки французских неправильных глаголов, считали размер александрийского стиха, определяли порядок рифм в сонетах и вовремя ложились спать накануне контрольных. Учитывая, что это длилось лишь последний месяц, средний балл Густава получился вполне приличным. Конечно, не сплошные пятёрки, как у Мартина, но тоже неплохо.

- Они же не могут заставить тебя поехать, – сказал Мартин.
- Нет, но... понимаешь...
- Я могу помочь тебе устроиться на почту. Это будет оправданием.
- Ты же ненавидишь почту.
- Да, но как-то надо зарабатывать.
- Ну...

Что бы Мартин ни предложил, у Густава находилось возражение, и спустя два дня он уехал. Мартин вернулся в сад, отодвинул в тень скамейку и начал наобум листать последний роман Уоллеса «Время и часы, наручные и настенные». Его не перевели, и, возможно, на то была причина – Мартин уснул на пятнадцатой странице. Понять что к чему ему так и не удалось, аннотация тоже ничего не прояснила. Из всех книг Уоллеса «Время» он оставил напоследок. Мама заказала её в другой библиотеке, и, судя по штампу в формуляре, её не брали читать с 1973 года.

Звонить и спрашивать, кто хочет увидаться и выпить пива, слишком рано. И кому звонить? На днях он столкнулся с бывшим одноклассником, и когда тот предложил зайти куда-нибудь выпить, Мартин услышал собственный голос, отвечающий, что он не может, потому что много дел. После чего он пошёл домой и написал длинное письмо Густаву. Поразительно, как много можно написать, когда событий так мало. Густав обычно отвечал открыткой: *Bcë très bien, очень солнечно, настроение Ван Гога минус сифилис & тот несчастный случай с ухом, нарисовал хорошую вещь, надеюсь привезти домой, привет gbg!!!* Иногда приходили рисунки и эскизы, настолько изящные, что было сложно представить, что их и каракули слов создала одна и та же рука.

Но в основном он молчал.

Мартин снова лёг на скамейку, запустив её скрипящее раскачивание. Пыльное жаркое лето – вялое и ленивое. Всего месяц прошёл после спешных доучиваний к итоговым контрольным, ранних подъёмов и поздних отходов ко сну, крепкого кофе и рецептов канапе к выпускному, которые мама с задумчивым видом искала в кулинарных книгах. А потом выпускной бал, куда они не собирались, но всё-таки пошли, – шарики, серпантин, липкие коктейли в пластиковых стаканчиках – воспоминания Мартина обрывались на моменте, когда он, исполняя зажигательный танец под «Lust for Life» Игги Попа, упал под стол, утащив за собой скатерть, а кто-то заорал фальцетом. Но параллельно этому он делал всё, что требовалось для поступления в университет, получив в награду зависть сестры и подарок от тётушки Мод: новенькую портативную пишущую машинку «Фацит», голубую, как яйцо дрозда.

– Скоро они будут считаться несовременными, но ты же такую хотел, – вздохнула она, критически рассматривая содержимое бокала.

А потом оказалось, что лето, которое должно было стать началом всего, превратилось по большей части в ожидание. Мартин ждал писем из Франции. Ждал, пока накопятся силы, чтобы приготовить еду. Ждал решения о зачислении в университет. Ждал старта почтового рабства. Зарплаты. Нового номера «БЛМ». Он ждал осени, хотя признаваться в этом самому себе было грустно. Ждал вдохновения. Почтальона. Ждал, отказываясь в это верить, повестки на военные сборы. Ждал, что кто-то позвонит, но не знал кто.

И, наверное, он бы просто взорвался, если бы не взялся за роман.

В гимназии всегда возникали какие-то помехи. После того как поступлю, думал он. Тогда и придёт время. Роман будет слегка автобиографичным и острым. Он сотрясёт старые устои, сметёт всю дрянь и паутину. Мартин видел перед собой комнату, до потолка забитую книгами, и письменный стол у огромного окна. На столе пишущая машинка и горы бумаги, за столом, откинувшись на спинку вращающегося стула, в чёрном свитере, с длинными волосами и сигаретой, тлеющей между указательным и средним пальцем, сидит МАРТИН БЕРГ.

Он начал с описания мужчины и женщины в одном из отелей Памплоны, это была слабая отсылка к Уоллесу. В номере царила атмосфера страха – этим он остался более или менее доволен, но в диалогах увяз, наверное, потому что не вполне понимал, что герои хотят сказать друг другу. Кроме того, в Памплоне Мартин никогда не был; он вообще дальше Дании никуда не уезжал. Город он выбрал потому, что в его названии слышались отзвуки залитых солнцем улиц, ленной сиесты, корриды, трепещущих закатов в бархатных тёмно-синих небесах, и он даже не задумывался, как на его текст отреагирует человек, который действительно бывал в Памплоне.

А вот рассказом «В два часа у крепости» он остался более чем доволен. На этот автобиографичный текст его вдохновил случай: однажды вечером Мартин чуть не завёл отношения с одной девушкой ровно в тот момент, когда её бывшего бойфренда избили эргрютские <sup>23</sup> парни в белых джинсах. Девушке пришлось заботиться о пострадавшем, тот был на удивление счастлив, несмотря на хлещущую носом кровь, а закончилось всё тем, что Мартин и Густав выпили бутылку омерзительного шерри, наблюдая восход солнца с крепостного холма. В этом рассказе ему удалось передать ощущение хаоса, и к тому же его напечатали в школьной газете.

Но это был рассказ, а что есть рассказ, если не проба пера перед неизбежным романом?

Собственно, сюжета он не придумал, полагая, что в процессе всё решится само собой. Да и сюжет – это, кстати, не самое важное. Самое важное – это... Да, а что, собственно, самое важное? О чём, по сути, писал Уильям Уоллес? Всё, что *происходит* в его рассказах, похоже, особого значения не имеет. Смысл как бы не в этом.

И, веря, что сюжет определится позднее, Мартин писал, что приходило на ум, а приходило в основном всё то, чем они с Густавом развлекались осенью и весной. Себя Мартин назвал Юханом, но имени для Густава подобрать не мог, поэтому пока он обозначил его как Г. Юхан и Г. слонялись по городу, посещали музеи, и вместо того, чтобы пойти на студенческую вечеринку, забирались на какой-нибудь холм и сидели там на траве, наблюдая закат, и вели философские беседы о смысле жизни, растягивавшиеся на несколько страниц. Звонил телефон, но Мартину надо было дописать, как Г. стащил в магазине упаковку жевательного табака и им пришлось удирать оттуда со всех ног, и как потом они снова расположились у склона возле школы Кунгсладугорда, и как Юхан впервые в жизни попробовал жевательный табак, и первые пять минут это было круто, но в итоге всё закончилось грандиозным плевок, из-за которого на них крайне предосудительно посмотрели какие-то тётки.

Когда Мартин не понимал, как продолжить, он листал какой-нибудь из романов Уоллеса, чтобы посмотреть, как поступал тот. В «Днях в Патагонии» был фрагмент, от которого у Мартина начинала кружиться голова.

Главный герой книги, юный Билл, только что приехал в Париж. Он очень жаждет преуспеть – он очень голоден и одинок, его недавно бросили. Билл бродит по улицам, охваченный, как пишет Уоллес, «чернильной горячкой», письменный стол в гостиничном номере в равной степени манит его и пугает:

*Учитывая требования профессии писателя, странно, что она остаётся столь притягательной для юных душ. Никто, и Билл Брэдли в том числе, не может вообразить, что вдох-*

---

<sup>23</sup> Эргрюте – район Гётеборга.

*новение сидящего за письменным столом никогда не исчезнет, что пишущий всегда сможет черпать его из нескучающего источника, работать одержимо и пылко, ведомый таинственными силами, управлять которыми невозможно. Нет, сомнение присутствует всегда. Это эквилибристика на краю пропасти. Случается, ты засыпаешь у самого обрыва, а пробуждаясь, сначала видишь тьму и осознаешь: если я сейчас упаду, возврата не будет. Если я упаду, мне конец.*

*Профессий, сулящих подобное счастье, единицы: золотоискатели, пожалуй, и писатели. И всё равно к ним рвутся. Садятся за стол, берут бумагу и ручку. Ищут первое предложение, тонкую, как паутина, леску, чтобы сплести сеть. Понимают, сколько времени это займёт, какой труд предстоит, и всё равно продолжают. Почему? Потому что писать означает завоевывать мир. Присваивать его и становиться богом. Пишущий получает доступ ко всем пространствам, к умам и душам, в святая святых; все тайны мира лежат у его ног. Ему даётся шанс попасть в вечность. Писать – это значит отрицать смерть.*

\* \* \*

Однажды на пике июльской летаргии, когда до возвращения Густава по-прежнему оставалась вечность, а известий от него не было уже как минимум пару недель, Мартин начал играть в музыкальной группе.

Во Французском клубе он разговорился со светловолосым парнем, который представился как Пер Андрен и энергично пожал Мартину руку своей влажной лапой. Он утверждал, что помнит Мартина по Витфельдской гимназии, хотя Мартин там этого Пера вроде не видел.

– А, да, конечно, – соврал он. Пер напоминал лягушку, с тонкими ногами и мощным слегка наклонённым вперёд туловищем, и Мартин мысленно заносил в память этот образ, чтобы потом найти ему литературное применение, а Пер тем временем поинтересовался, как дела и играет ли он на гитаре.

Мартин кивнул, может, потому что был пьян, а может, потому что соскучился по фламинированию по улицам с гитарой за плечами. (В последний раз это было год назад, когда он твёрдо решил бросить занятия у учителя музыки, которому было не меньше пятидесяти пяти и который при каждом удобном случае напоминал, что когда-то имел некоторое отношение к Blå Tåget <sup>24</sup>: «Хотя, с тех пор прошло, конечно, много времени...»)

Оказалось, что гитарист из группы Пера уехал в Италию давить виноград. И ему нужно найти замену. Потом Мартин познакомился с солистом Томми, который никогда не снимал солнцезащитные очки в помещении и не вынимал изо рта жвачку. Барабанщик работал на разогреве.

– Мы играем под Clash, Iggy & the Stooges, раннего Боуи, – сказал Пер.

– Какая у тебя гитара? – спросил Томми.

– И The Undertones, само собой, – быстро продолжил Пер, – Эбба <sup>25</sup>, разумеется... Честно говоря, мы ближе к року, чем к панку.

– Звучит неплохо, – сказал Мартин. – Но моя гитара крякнула.

Правда была в том, что гитары у него не было, он променял её на перно, диски, платные клубы, газеты и чёрные джинсы «ливайс», в которых Густав предлагал прорезать дырки в знак символического протеста против капитализма.

– Ничего страшно, можешь взять гитару Эрика, – предложил Пер. – Там, где он находится сейчас, она ему всё равно не понадобится.

---

<sup>24</sup> Шведская прог-рок-группа.

<sup>25</sup> Эбба Форсберг – известная певица.

– Сейчас он кормит рыб, – сказал Томми по-английски <sup>26</sup>.

– Я имею в виду, что он в Болонье.

Пер хотел, чтобы они выступили на фестивале в сентябре. Для этого нужно репетировать хотя бы два раза в неделю. А лучше три. Но в первый раз в репетиционном помещении заби-лась канализация. На вторую репетицию не пришёл барабанщик. А на тех редких репетициях, которые удавалось провести, они в основном обсуждали, что и как должно звучать. Мартин понял, что на электрогитаре Эрика играть сложнее, чем он предполагал. Пальцы соскальзывали со струн, он не вовремя нажимал на педаль эффектов, по спине стекал холодный пот, и когда кто-то предложил пойти выпить пива, он немедленно согласился.

Пер и Томми слегка заполнили пустоту, которую оставил после себя Густав. Пер был нормальным – он заезжал за ним на своём драном старом «жуке», заинтересованно кивал и помнил, кто и что говорил. А Томми, откинувшись на спинку сиденья, по двадцать минут рассказывал о себе самом. Общаться с ними было проще, чем не общаться, и именно с Пером и Томми он провёл последний вечер перед военными сборами.

Сам факт того, что надо ехать в Карлстад и пожертвовать два дня своей жизни на это шоу, уже раздражал. Армия и военное дело Мартину никогда не нравились. Работать в группе. Выполнять команды. Претерпевать лишения. Стричь волосы, уже отросшие до той длины, которая всякий раз заставляла маму спрашивать, не пора ли ему сходить к парикмахеру, пока Кикки однажды вдруг не простонала: «Мама, ему так *надо*» (редкий пример, когда сестрица приняла сторону брата, ничего для себя не выгадав). Обзавестись сослуживцами и до конца жизни обращаться друг к другу по фамилии, судорожно пытаться пробудить давно исчезнувшее и подёрнувшееся паутиной чувство рядового Карлсона образца 91.

Они обсуждали это весь весенний семестр.

– Можно пойти в альтернативщики, – говорили одни, но это казалось бессмысленным. Тогда уж лучше поступить как Густав и отказаться совсем. (Хотя неизвестно, возможно, Густав вообще не окажется в ситуации, когда ему придётся *отказываться*: склонность ко всяческим болезням, близорукость, непрерывное курение и полное отсутствие мышечной массы делали его несопоставимым с самой идеей армии.) Они обдумывали разные способы откосить. Симулировать расстройство психики? Проблемы с наркотиками? («Нет, это слишком круто», – говорил Густав.) Признаться в том, что ты гомосексуалист? Нацик или сталинист? Прийти в чулках в сеточку? Завернуться в ковёр и объявить себя долмой? У Густава был знакомый, который не спал три ночи, а потом пришёл к психологу и заорал, что хочет стать морпехом, и начал биться головой о стол. Второй явился в стельку пьяным. Третий дал взятку частному психологу, и тот выдал заключение о непригодности для несения военной службы.

– Но это, пожалуй, немного аморально, – заметил Густав.

– То есть разыгрывать психа морально, а давать взятку нет?

– Это сильнее бьёт по системе.

– Это в любом случае бьёт по системе.

Но со временем Мартин смирился с этой мыслью. О'кей, семь с половиной месяцев к чертям собачьим. О'кей, будет неудобно и тяжело. О'кей, придётся выполнять какие-то команды (само слово «команда» – это уже что-то из мира животных). Но, с другой стороны, он получит права, и к тому же требование ОТСЛУЖИВШИЙ В АРМИИ часто встречается в рубрике «Вакансии», которую он иногда просматривает, прикидывая возможности для альтернативных заработков на период становления его как писателя. Может, его отправят в Шёвде или какой-нибудь другой относительно цивилизованный гарнизон. Может, он там даже как-то отличится. Удивит начальство умом и упорством, победит в каких-нибудь состязаниях и будет выносливо

<sup>26</sup> Фраза из романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».

преодолевать долгие марш-броски. Однажды в пять утра он дошёл из другого конца города до дома, потому что не успел на последний трамвай.

И вот, в тот вечер накануне призыва – розовый, летний, как будто только что наступивший вечер, который будет притворяться ранним до самой темноты – они с Пером и Томми отправились в «Спрэнгкуллен» или «Эрролс», уселись там в самом прокуренном углу, смеялись над тем, что рассказывала им какая-то симпатичная девица, и, поднося ей зажигалку, Мартин мысленно писал очередное письмо Густаву. Было ещё светло, они купили картофельный салат, холодное мясо и виноград в «Консуме». У Томми была упаковка пива, что хоть как-то компенсировало эти его раздражающие откровения.

Мартин открыл банку и, с мыслью о предстоящем тестировании на интеллект, пообещал себе выпить ещё максимум две.

– Изображать психа не имеет смысла, – сказал Томми, поправив на шее пёстрый платок, который носил не снимая. – В виде наказания они пошлют тебя в Буден или Освенцим.

– Альтернативная служба – это неплохо, – заметил Пер.

– Если повезёт, попадёшь в спецвойска, – произнёс Томми. – Одиннадцать месяцев. Без особого разрешения никуда не отлучиться, могут только через государственную границу перебросить.

Мартин махнул рукой, отпугивая пчелу, кружившую над ветчиной.

– Вот чёрт! – Тыльная сторона ладони горела, он сморщился и потёр место укуса. По руке расплзлось красное пятно.

– Эта дрянь меня ужалила. Это опасно?

– Не-а, – ответил Томми.

– Возможно, – задумался Пер, – если у тебя аллергия. У тебя есть аллергия?

– Откуда я знаю. Меня раньше не кусали.

– Успокойся, – сказал Томми. – Выпей пива.

– Можно я посмотрю твою руку? – строго спросил Пер. Мартин вспомнил, что в армии он служил санитаром.

– Ничего же страшного?

– Ну, у тебя же никогда не было сыпи на шее?

– Какой ещё сыпи? – Голос предательски сорвался.

Пер закатал Мартину рукав рубашки, предплечье было покрыто красными точками, напоминающими комариные укусы.

– Похоже на сыпь при крапивнице. Нам, наверное, надо... – нахмутив лоб, Пер бросил взгляд в сторону трамвайной остановки, – надо поехать в больницу.

– Я в любом случае останусь, – сказал Томми.

Когда они ждали трамвай до Сальгрэнской больницы, Пер велел Мартину сесть на скамейку. Живот у него свело, его подташнивало. Было трудно наполнять воздухом лёгкие, а голова казалась слишком лёгкой. Голос Пера звучал как будто вдалеке, и когда Мартин поднялся, чтобы зайти в трамвай, всё вокруг вдруг закружилось.

– Ищи в этом светлые стороны, ты точно получишь освобождение от армии, если у тебя аллергия на укусы пчёл. Как ты?

– Дерьмово...

– Что ты сказал?!

Слова казались огромными и не помещались во рту. Мартин попытался повернуть голову, но она оказалась настолько тяжёлой, что он сел, сложившись пополам, и пытался дышать, но чем больше он пытался, тем меньше воздуха поступало, перед глазами потемнело...

– Ты пьян? – раздался женский голос, и это было последнее, что услышал Мартин перед тем, как впервые в жизни упасть в обморок.

## II

ЖУРНАЛИСТ: За годы работы издательство «Берг & Андрен» выпустило довольно много учебной литературы. Как бы вы охарактеризовали ваше отношение к образованию?

МАРТИН БЕРГ: Моё отношение к образованию... [*Наклоняется вперёд, пьёт воду из стакана.*] Образование и образованность – это ведь далеко не всегда одно и то же, так? Можно получить образование, научившись лишь правильно отвечать на экзаменационные вопросы, и ничему более. Образованность – это другое. Если мы говорим о гуманитарной или художественной области, то молодой человек здесь неизбежно необразован. Неважно, сколько он учился или насколько умён: он молод, он ещё не жил и поэтому другим быть не может. И всё же есть, пожалуй, один аспект образованности, который... [*Замолкает, хмурит лоб.*]

ЖУРНАЛИСТ: ...который?..

МАРТИН БЕРГ: Да, который имеет отношение к способности использовать собственный жизненный опыт. И если ты не признаешь факт существования того, о чём ты не знаешь, тебе вообще будет очень трудно чему-либо научиться.

\* \* \*

В первый день учёбы без семи девять Мартин Берг стоял в зале, как он очень надеялся, именно философского факультета. Там не было ни души. Вспотевшими руками он вытащил извещение о зачислении. Адрес правильный. Один раз он уже проверял, потому что снаружи здание тоже мало напоминало университет: слегка облезлый деревянный особняк из тех, которые обычно сносят, чтобы построить современный жилой комплекс или парковку. В холле тёмные деревянные панели, несколько мягких стульев, ковёр с «до шёпота» истёртым узором. Единственным свидетельством в пользу того, что это действительно университет, служила доска объявлений с хаосом бумажных клочков и явным дефицитом канцелярских кнопок: *Ищу жильё. Продаю: История философии т. 1–5, не новая. Вступайте в наш хор!*

Какие скрипучие половицы... Мартин приоткрыл одну из дверей. Помещение напоминало гостиную, обставленную случайной мебелью – продавленные диваны и кресла, низкие столы, – но во всю торцевую стену тянулась доска, а рядом высилась кафедра. Из ниши выглядывал гипсовый бюст какого-то сосредоточенного мужика с кудрявой бородой и строгим взглядом. Явно прокурено. Глупо стоять вот так и не знать, куда идти, и, не придумав ничего лучшего, Мартин снова вышел на улицу. Прошёлся немного по Мольндальсвэген, ощущая себя идиотом, за которым кто-то наблюдает из окон дома на противоположной стороне. Он тщательно распланировал время – чтобы прийти не слишком рано и не слишком поздно. Почему там никого больше нет?

И только ещё раз изучив расписание, он заметил небольшую ремарку «академическая четверть». Что это означает, он точно не знал, но интуитивно решил, что это и есть причина. И он пошёл дальше и дошёл до завода Люкхольма. Выкурил сигарету, о чём тут же пожалел, потому что почему-то почти ничего не съел на завтрак. А когда в десять минут десятого вернулся, в зале, помимо других студентов, находился и пожилой господин, державший в руках пачку бланков.

– Основы философии? – спрашивал он.

Мартин оглядел помещение, заставленное старыми диванами. Выбрал кресло, стоявшее немного в стороне. После того как все собрались, мужчина с бланками представился профессором и куратором курса. Бодрый, в выглаженной фланелевой рубашке, он мало напоминал эксцентричного типа, которого воображал себе Мартин.

– Итак, – объявил профессор с кафедры. – Добро пожаловать.

\* \* \*

Мартин думал, что университет – это единое пространство, то есть несколько стоящих рядом зданий, примерно как Витфельдская гимназия. Но оказалось, что факультеты разбросаны по всему городу. Академия Валанда <sup>27</sup> сейчас находилась не в Валанде, а на Линдхольмене, по словам Густава, это было временным решением и страшной морокой, потому что ему каждый божий день приходилось мотаться на Хисинген. Литературоведы обитали в старом здании на Стуре Нюгатан. Педагогический факультет, как он узнал от девушки, с которой как-то слегка флиртовал, но потом потерял из вида, выслали в Мольндаль. Бизнес-школа располагалась в жуткой коробке напротив старой городской библиотеки. Чалмерс <sup>28</sup>, который, по представлениям Мартина, выглядел именно так, как должен выглядеть университет, оказался вообще не частью университета, а самостоятельным институтом.

Преподаватели не упускали случая покритиковать условия на философском факультете – масляное отопление регулярно выходит из строя, в непригодных для учёбы помещениях сквозняки. Мартину, впрочем, здесь очень нравилось. Превращённая в аудиторию бывшая столовая или гостиная – это же идеальное место для Изучения Философии, он так считал с тех пор, как прочёл о том, как Сартр сорок лет назад учился в Высшей нормальной школе Парижа. Удивительно, но Мартин явно чувствовал тепло, исходящее от протёртой обивки кресел, тёмных панелей на стенах и потолке, пепельниц, которые студенты обязаны были вытряхивать после лекций. Ему нравилось, что он знает, как поставить на место расшатанный оконный шпингалет, и нравилось приходить на факультет в восемь, сразу после открытия, чтобы лишний раз перечитать заданный текст.

От кого-то из однокурсников Мартин уже не раз слышал об «УБ», но, только увидев вывеску, сообразил, что подразумевалась Университетская библиотека. Он зашёл в полной уверенности, что в читательском абонементе ему сейчас откажут, но уставшая библиотекарьша организовала всё за пять минут.

Довольно долго он просто бродил по залам без цели. Сплошные стеллажи, шкафы и полки, плотно забитые книгами, – и узкие проходы между ними. И никаких попыток показать книги так, чтобы привлечь к ним интерес. Родные обложки оторваны, и заново переплетённые книги превратились в анонимные тома тёмно-коричневого или бордового цвета. Он нашёл раздел философии и выбрал несколько книг, руководствуясь главным образом их обнадёживающим весом. Вернулся из книжного полумрака на свет и впервые переступил порог читального зала. Это было огромное помещение с высоким потолком и широкими окнами. Расставленные длинными рядами скамьи, каждое место снабжено перегородкой, настольной лампой и подставкой для книг. Там царила полная тишина, тишина того сорта, который нельзя встретить в городской библиотеке.

Мартин занял место на последнем ряду и положил книги на стол, стараясь сделать это максимально беззвучно. Но он не знал, с чего начать, и поэтому, по большей части, просто глазел по сторонам.

Впервые Мартин узнал о философии как об учебной дисциплине на третьем курсе гимназии. К ним пришёл молодой учитель, в которого сразу же влюбились все девчонки, несмотря на его мешковатый пиджак, дёрганую жестикуляцию и склонность брызгать слюной в приливах энтузиазма, случавшихся почти по любому поводу. Они проходили Платона, Аристотеля и Канта – и большая часть класса записывала что-то в блокнотах, – но главным была возможность обсуждать. Обычно дискуссии превращались в пылкие дебаты, ученики обвиняли друг друга

---

<sup>27</sup> Школа кино, фотографии, литературного и изобразительного искусства при Гётеборгском университете.

<sup>28</sup> Технический университет Чалмерса, осн. в 1829 г.



то в коммунизме, то в недостаточной политической сознательности. Они вздыхали, скрипели стулья. Где-то лопалась бомба жевательной резинки. Мартин получил высший балл за сочинение о Сартре.

Университет представлялся ему как более цивилизованное продолжение всего этого, место, где вдумчивые размышления в плотной тишине нарушает лишь скрип перьев. Поскольку он всегда был лучшим в классе, то полагал, что и дальше останется лучшим; ведь другим он никогда не был.

На первом занятии им раздали по фрагменту текста. Там было полно слов, которые раньше ему не встречались, хотя лексикон у него был обширный – в отличие от многих других, которые, читая «Джентльменов»<sup>29</sup>, лезли в словарь проверять значение слова «мизерабль». Но предложения были настолько распространёнными, что, добираясь до конца, он забывал, о чём говорилось в начале. Взгляд неотрывно скользил по строчкам. Мартин перечитал текст, ещё раз и медленнее. Это не помогло. Он всегда посмеивался над теми, кто называл сложные тексты китайской грамотой. И его вдруг осенило – тут подвох. По телу разлилось облегчение. Это *должно быть* непонятным. Сейчас профессор сделает какой-нибудь финт, скажет что-нибудь об умении формулировать вопросы или о критическом мышлении. Мартин посмотрел по сторонам, но остальные продолжали чтение. Они не поняли смысла задания.

Но когда профессор заговорил, речь пошла отнюдь не об объяснении хитрости.

– Итак, вы закончили чтение, – сказал он. – Это был фрагмент из «Феноменологии духа» Гегеля.

И он начал говорить о важности обращения к первоисточникам и о том, что нельзя приблизиться к великим мыслям, читая вторичную литературу, которая бывает разного качества. Кроме того, читать лучше на языке оригинала, чтобы избежать возможных ошибок перевода. Кто-нибудь читает по-немецки? Несколько рук робко потянулись вверх.

Примерно через неделю им задали написать первое эссе. Нужно было взять одно из понятий Аристотеля и изложить аргументы в пользу его актуальности в нынешнее время. Мартин писал текст в библиотеке, потратил на него много часов и результатом остался доволен. Когда же ему выдали работу после проверки, она была так густо испещрена красными пометками, что он даже решил, что по ошибке получил чужое эссе. Но никакой ошибки, это написал он.

Никому ничего не сказав, он быстро вышел из аудитории, направился в университетскую библиотеку и спрятался в самом дальнем её углу. Там он заставил себя внимательно прочесть комментарии. Взгляд отказывался это видеть, Мартину стало жарко, и он резким движением стянул с себя свитер. Закончив читать, какое-то время просто сидел, глядя в пустоту. Некоторые комментарии казались уместными, некоторые – немотивированно критическими. Хотя... Может, у него просто нет склонности к философии? Может, он просто не понял сути?

Он попал в ловушку. Он был лучшим среди незаинтересованных в учёбе ленивых одноклассников и перепутал это с талантом? *Пожалуйста, доработайте и сдайте в двухнедельный срок.* То есть ему даже «удовлетворительно» не поставили. Первый «неуд» в жизни.

Профессор носил эти его отглаженные рубашки и противно откашливался, Мартин был уверен, что одних он заваливает, а других хвалит ни за что, к примеру образцово-показательного Фредрика. Фредрик говорил спокойно и уверенно и продолжал кивать, когда другие откладывали ручки и сидели с открытыми ртами и хмурыми лицами. Иногда профессор обращался к нему напрямую, словно остальные на занятии отсутствовали. Фредрик получал отличные отметки, потому что точно знал, что от него ждут. (Мартин с Фредриком не разговаривал ни разу и делать этого не собирался.) Фредрик, видимо, вырос в семье, где было полно учёных, и поэтому чувствовал себя в их мире как дома и к тому же понимал, чем отличается ассистент кафедры от доцента.

---

<sup>29</sup> Роман Класа Эстергрена, написанный в 1980 году.

Мартин снова внимательно перечитал основной текст и долго думал над смыслом замечаний. Вычеркнул несколько строк, которые ему очень нравились – это были ассоциативные выкладки, хорошо написанные, но довольно далёкие от темы, – и начал писать по существу. В итоге доработка заняла у него больше времени, чем само сочинение. И всё равно он сдавал его с неуверенностью. Через несколько дней работа вернулась с простой ремаркой «*хорошо*» в углу страницы, но, когда отхлынула первая волна облегчения, Мартин не мог избавиться от подозрения, что оценку ему поставили, просто чтобы отделаться, или, ещё хуже, из жалости.

\* \* \*

Когда Мартин пришёл в «Юллене Праг», Густав уже успел осушить огромную кружку. Он смотрел в окно и грыз ногти.

– Как дела?

– Да вроде ничего. – Густав жестом попросил у официантки два пива.

– Расскажи о школе. Нравится? Как класс?

Густав пожал плечами, закусил щеку, посмотрел в окно на Свеаплан и наконец произнёс:

– Они так много *говорят*. Что есть искусство? Что ты хочешь выразить? Какой образ создать? И всё в таком духе.

– Но это же интересно, нет?

– Не знаю, – ответил он. – Я просто рисую. А ещё некоторые из них учились на подготовительном.

– Что?

– Подготовительное отделение. Я там самый молодой.

– И, надо думать, как всегда, самый лучший.

– У нас был семинар, каждый рассказывал о себе и о том, чем хотел бы заниматься. Про меня кто-то сказал, что у меня «классическая образность», но это звучало так, как будто это плохо. Не знаю. Может, это всё не для меня.

Густав вернулся из Франции две недели назад и впервые – загорелым. «Крысиные» волосы посветлели, в Каннах он сходил к парикмахеру (*бабушка запретила мне стричься самому*). В приличной одежде он выглядел бы как обычный турист на Ривьере, какой-нибудь проходящий персонаж Хемингуэя или нервный кузен Билла из «Дней в Патагонии». После возвращения он часто бывал очень рассеянным, а на вопрос «о чём ты думаешь?» отвечал «ни о чём». Постоянно закуривал, забывая о том, что уже держит в руках сигарету. Мог предложить выпить в середине дня, а когда Мартин отказывался, раздражался, делал несколько глотков и оставлял бокал недопитым. Не хотел идти в «Эрролс». Не хотел в «Спрэнгкуллен». Не пошёл на концерт Эббы в «Корен». В прошлую субботу вообще остался дома. И Мартин позвонил Перу. И хотя он не питал особых надежд, но вечер получился просто прекрасным: они выпили пива, послушали музыку, отправились дальше, встретили кучу народа, и Пер сразу со всеми подружился, а потом они все сидели, обнявшись за плечи, и кто-то пытался научить их петь «Интернационал» по-русски, чтобы подразнить кого-то, они не поняли кого, а потом слонялись по Бельмансгатан и пытались попасть в «Бахус». Членских билетов у них не было, и усталый охранник просто смотрел мимо них, а они, встав чуть в стороне, курили и обсуждали, кто из знакомых мог бы дать им рекомендацию в клуб.

– А это разве не клуб для голубых? – спросил Мартин.

– Здесь полно и другого народа, – сказал Пер и посмотрел на женщину, выходящую из такси. Даже издали было видно, как она красива, просто героиня Феллини. Никто из его знакомых девчонок такой красотой не обладал.

– Один мой друг говорит, что это гётеборгский Нью-Йорк. Эх... Нам надо признать, что мы проиграли. «Спрэнгкуллен» уже закрылся?

Они срезали путь через Хага Чуркоплан. Навстречу быстро шёл парень, он смотрел себе под ноги, засунув руки в карманы.

– Густав?

Он вздрогнул, как от пистолетного выстрела.

– Чёрт! – воскликнул Мартин. – Ты же сказал, что останешься дома.

Густав пробормотал что-то про то, что он не мог заснуть.

– Куда ты идёшь?

– Просто гуляю. Кстати, привет... – Он пожал руку Перу, которого видел впервые. Мартин много рассказывал ему о Густаве Беккере и хотел бы, чтобы их встреча состоялась при лучших обстоятельствах.

– Мы уже домой, – сказал Мартин.

– Но можно и выпить пива в том месте в Хаге, – предложил Пер и посмотрел на Густава. – Хочешь с нами?

– Конечно, – ответил Густав. И за целый вечер не сказал ни слова.

Он быстро улыбнулся официантке «Юлене Праг», когда та поставила им на стол пиво.

– Кто, если не ты, должен учиться на художественном факультете? – произнёс Мартин. – Чем ты ещё можешь заниматься? Ну да, ты можешь пойти на альтернативную службу, как все простые смертные, а живописью заниматься на досуге по вечерам.

Густав поджал губы.

– Кредит на учёбу в любом случае дали.

\* \* \*

Осень шла своим чередом. Сумерки наступали всё раньше, заливая акварели чернилами. Липы на Васагатан пожелтели, а в парке Аллен земля была усыпана блестящими каштанами. По утрам велосипедное седло сверкало от инея. Мартин вынул из шкафа пальто, снял с отворотов значки и перебросил через плечо шарф. Он никогда не носил сумку, но теперь требовалось придумать способ для транспортировки книг; пакеты такой вес больше не выдерживали. Он подумывал о вещмешке, вроде того, с которым ходил Густав, но в магазине неликвидов такие не продавались, да и носить в таком мешке книги не очень удобно. Портфель? Он нашёл один в секонд-хенде, но с портфелем в руках Мартин выглядел до смешного идиотски, так что в конце концов он купил чёрный кожаный рюкзак.

Проезжая на велосипеде по Улоф-Вийксгатан, он всегда смотрел на окна квартиры семейства фон Беккер. Несколько раз он слегка замедлял ход при виде Марлен, которая иногда отвечала на его кивок вспышкой неуверенной улыбки, а иногда вообще его не замечала.

Оказываясь на Мольндаальсвэген, Мартин Берг оставлял пальто на вешалке у входа. Зажигал сигарету, откидывался на спинку дивана и фиксировал взгляд на лекторе. Он вытаскивал из нагрудного кармана огрызок карандаша и записывал. Он научился говорить так, словно мысль только что пришла ему в голову, и сопровождал слова небрежными жестами. Следующее его эссе вернулось с восклицательным знаком и похвалой, записанной на полях шариковой ручкой. Он поднимал руку, и преподаватели запомнили его имя. Он читал каждый заданный текст минимум два раза.

В его экземпляре Философского словаря было полно загнутых страниц и закладок, подчеркиваний и заметок на полях. Он читал всю рекомендованную литературу. И уделял изучению философии столько времени, что на сочинение романа действительно ничего не оставалось. Но его это не огорчало – у него появилась идея вплести в текст некое философское измерение, это и будет отличать его роман от «Джека» и всех «джекоподобных» книг, поэтому потраченное время становилось инвестицией.

### III

ЖУРНАЛИСТ: Встречались ли на вашем пути обычные... писательские трудности?

МАРТИН БЕРГ: Знаете – когда вы берёте ручку – образно говоря, потому что от руки больше никто не пишет, – когда вы берёте ручку, вы становитесь богом. Вы свободны в выборе решения. И возникает соблазн описать мир таким, каким, как вам кажется, он *должен* быть. Поставить всё на свои места. Сделать героя идеальным и позволить ему победить. А его антагониста сделать крайне несимпатичным и воздать ему по заслугам. Не знаю, возможно, писатель иногда даже не прочь рассказать другим людям, как им следует жить. Или позволяет героям осуждать или предупреждать. Да ради бога, пожалуйста. Мы живём в свободной стране. И можем писать о чём угодно. Другой вопрос, насколько это будет художественно... не говоря уж о том, что именно почерпнёт из написанного читатель.

\* \* \*

– Я хочу съехать, – сказал Мартин.

– М-м, – произнёс Густав, стоя у мольберта. Основа картины, как казалось Мартину, уже была готова. Если Густав, конечно, не поменяет стиль и не начнёт рисовать в абстрактной манере. Что вполне возможно, он же всё время вопит об этом нефигуративном искусстве Шандора и собственной «несчастной привязанности к сюжету».

Мартин лежал в мастерской на продавленном диване и пил виски из спецзапасов. Это было в ноябре. Пронизывающий холод, свирепый ветер. Всю дорогу до Хисингена он, дрожа, простоял на палубе (на максимальном расстоянии от леера), любясь роскошными сумерками. А придя в школу, обнаружил, что Густав стоит во дворе и любуется тем же небом, и последний луч умирающего света отражается в стёклах его очков.

Все разошлись по домам, вернее, по компаниям. Кроме Густава, в здании оставалось два-три человека. Откуда-то доносилась приглушенная музыка, и в тёмный коридор падала полоска света. Остаться тут всё равно лучше, чем пойти к себе и разбирать скучные выкладки Фреге.

Всякий раз, когда Мартин переступал порог дома на Кунгсладугордсгатан, его лёгкие заполняло нечто густое и вязкое, словно бремя истории давило на грудь, а движения становились замедленными, как под водой. Ему даже хотелось, чтобы произошёл какой-нибудь конфликт, от которого можно было бы оттолкнуться. Чтобы ему пришлось собрать свои вещи и уйти. Но там сидела мама, она читала, низко падал свет от лампы, мама курила и ела леденцы. Отец смотрел истерически-юмористическое шоу по телевизору с отключённым звуком, потому что из-за типографского грохота у него шумело в ушах. Из комнаты Кикки доносились обрывки телефонной болтовни.

Сходив за виски, Мартин снова растянулся на диване.

– Я даже писать больше не могу. Мне кажется, дело в помещении. Это самое забытое богом место всех времён и народов. Там не смог бы писать даже Уоллес. И Стриндберг не смог бы, хотя он писал непрерывно, даже когда стал параноиком и пытался синтезировать золото. Клянусь, в моей комнате не выдержал бы даже Стриндберг. Там никто бы не выдержал.

– Тогда съезжай, – сказал Густав.

– Я это и имел в виду.

Мартин был уверен, что Густав предложит ему переселиться на Шёмансгатан. Это было бы идеально – он и так всё время здесь, и квартплата бы стала совсем маленькой. Конечно, для двоих тут немного тесновато, но Густав всё время в школе, а Мартин в библиотеке, и потом, это временно, пока не подвернётся что-нибудь другое...

Но Густав сказал:

– На доске объявлений куча предложений совместного проживания и прочего. Посмотри, что-нибудь найдёшь.

Мартин тяжело вздохнул.

– Конечно, – кивнул он и замер. – Так и сделаю.

По нескольким объявлениям он позвонил. В первом случае предлагалось жильё в доме под снос в Хаге, но его уже сдали. Во втором требовался депозит за два месяца, а туалет был только во дворе. Третьей была комната на Каптенсгатан.

– Думаю, тот, кто жил тут раньше, не сильно заморачивался насчёт уборки, увы, – сказал по телефону владелец квартиры Андерс. – Клозет есть... что ещё... – В трубке слышались брэнчание гитары и чьё-то неуверенное пение. – Ну, и тут у меня всё время гости и всё такое, – продолжил хозяин. – Надеюсь, ты не против.

– Конечно, нет, – ответил Мартин.

– Я пытался как-то сдавать одному, ну, типа фанату порядка. Катастрофа. Может, просто зайдёшь и посмотришь?

Квартира располагалась на втором этаже в губернаторском доме. На двери была наклейка ВРК<sup>30</sup>. Андерс открыл, как только Мартин нажал на звонок, будто стоял и ждал его прямо за дверью.

– Заходи, – сказал он. За влажным рукопожатием последовал жест, приглашающий идти следом. Он кого-то напоминал, Мартин пытался вспомнить, кого, пока ему показывали кухню, где давно пора было прибраться, и гостиную, где, помимо прочего, имелся цветастый диван и такие же кресла, кальян и несколько явно уставших от жизни комнатных растений. И только когда Андерс открыл дверь в комнату, предназначавшуюся Мартину, он вдруг понял, на кого похож хозяин, – возможно, не без подсказки слегка манерного жеста, брошенного в сторону двадцати квадратов с окнами на улицу. Портрет Джеймса Стюарта, герцога Леннокса, кисти Антониса ван Дейка. Он был в книге о голландской живописи, которую Мартин купил, чтобы понимать то, что Густав рассказывал о Вермеере и Рембрандте. Как и у Джеймса Стюарта, у Андерса было узкое лицо и золотистые локоны до плеч, большие и немного влажные глаза, длинный рельефный нос и пушистые усы. Аристократ у ван Дейка был одет в шёлковую блузу, а Андерс – в хлопковую робу маляра и, вместо груши, держал в руках коробочку со снюсом. Он скрутил табак в приличную порцию и спросил у Мартина, как ему комната.

Сумка на колёсиках и помощь Густава позволили перевезти всё имущество за две поездки на трамвае. Андерс пригласил их на ужин по случаю новоселья, который состоял из тушёной чечевицы и наполовину разведывательных, наполовину менторских бесед о ядерной энергии («видимо, необходима катастрофа, чтобы люди поняли, насколько это опасно»), нынешнем правительстве («печальное, но логичное следствие обезвоженных и замшелых социал-демократов») и собственном опыте работы на заводе («на конвейере»). Выяснив, что новый жилец изучает философию, Андерс спросил, что он думает о Марксе, и, услышав правильный ответ («понять политическое и философское развитие двадцатого века без этого мыслителя невозможно»), вроде бы немного успокоился.

Густав, присутствовавший на этом первом общем ужине, всё время молчал. Неважно, что он думал – он мог соглашаться и скандировать первомайские лозунги, надеясь на скорую гибель капитализма, как и предрекает ему материалистическая диалектика, – но Густав просто застыл и погрузился в себя, точно его в любой момент могли поставить к стенке. Он сидел, ковырял вилкой свою чечевицу и пил лёгкое пиво. Андерс рассказывал о своей недавней попытке замариновать морковь.

---

<sup>30</sup> Левая коммунистическая партия Швеции.

\* \* \*

От Каптенсгатан до обиталища Густава на Мастхугтет пешком было не больше получаса, а, если срезать путь, то и вовсе минут десять. И всё равно они могли не видаться неделю или даже больше.

– Ты же можешь приехать сюда, – говорил он, когда Мартину удавалось поймать его по телефону.

«Сюда» означало к нему в школу, и Мартин иногда приезжал. Густав показывал свои последние работы, они пили грог и ели особые здешние бутерброды с домашним сыром. Рано или поздно к ним присоединялись валандские приятели, и разговор всегда крутился вокруг местных скандалов или преподавательских интриг.

– Уже уходишь? – спрашивал Густав без особого огорчения.

Однажды они договорились встретиться, только вдвоём, а Густав опаздывал. Мартин ждал его на Йернторгет. Стоял ранний апрель, и по прошествии солнечной недели Мартин сменил пальто на чёрный шерстяной пиджак, но сейчас было очень ветрено и с неба свисали тяжёлые угрожающе низкие тучи. Мартин несколько раз обошёл фонтан. Спросил у какой-то дамы, сколько времени. Густав опаздывал на десять минут. Потом на пятнадцать. Двадцать. Упали первые капли дождя. Мартин направился к телефонной будке. Набрал номер телефона, стоявшего в коридоре школы, и через несколько гудков услышал запыхавшийся голос:

– Да, алло? – На заднем плане раздавались голоса и звучала музыка.

– Это Сиссель? – Ему показалось, что он узнал однокурсницу Густава.

– Да, с кем я говорю?

– Это Мартин, Мартин Берг...

– Привет, Мартин! – Голос звучал радостнее, чем обычно. Может, она всегда так разговаривает, когда выпьет, только сам он ни разу не общался с ней в достаточно трезвом виде, чтобы это оценить.

– А почему ты не здесь?

– Э-э-э... А Густав там?

– Да, хотя подожди, он только что ушёл за льдом. Сказать ему, чтобы он тебе перезвонил?

– Спасибо, не надо.

Сиссель сказала ещё что-то, утонувшее в общем шуме и смехе, и повесила трубку. По окнам будки хлестал дождь. Мартин прошёл пешком три остановки. В квартире никого не было; Андерс уехал на практику в Албанию. Мартин повесил мокрый пиджак над ванной и сунул газеты в промокшие ботинки. Потом приготовил ужин, состоявший из бекона, яичницы и белых бобов, и уселся с тарелкой перед телевизором.

Первый звонок раздался на следующий день в два. Мартин не ответил, поэтому не был уверен, что это Густав, но к двум он обычно справлялся с похмельем и никогда не вешал трубку раньше девяти гудков. Мартин продолжил читать. В три телефон зазвонил снова. Потом в половине четвёртого и без четверти четыре. После чего Мартин собрал книги и пошёл в «Хэнгматтан», чтобы заниматься там.

Вечером он договорился встретиться с однокурсниками. Пиджак практически высох. Они долго обсуждали, существует логика или нет, белых и чёрных лебедей Карла Поппера (Мартин всё время беспокойно разминал в руках сигарету), гений ли Витгенштейн или шарлатан, гей или нет.

– Никаких доказательств его гомосексуальности не существует! – воскликнул Фредрик, который, вдобавок ко всему, начал курить трубку и теперь довольно агрессивно стучал ею, выбивая табак. Мартин сказал, что пора расходиться.

На следующее утро его разбудил звонок телефона, оставленного на кухне, он вскочил и чуть было не ответил, но успел вспомнить о принятом вчера решении. Телефон продолжал звонить, пока он пил воду и ходил в прихожую за газетой. Андерс скептически относился к тому, что Мартин выписывал «Гётеборг постен» – «это всё же либеральное издание». После отпущенного им комментария возникла небольшая пауза, потому что Мартин не знал, как лучше ответить. Но в конце концов сообразил и сказал, что привык читать утреннюю газету, поскольку отец всегда приносил её из типографии. И эта связка с пролетариатом, похоже, заставила смягчиться Андерса, чьи родители работали учителями в гимназии.

Мартин сделал бутерброды и заварил кофе, разгрёб на столе кое-какие завалы и поставил в раковину тарелки с засохшей едой, чтобы отмокли. Прочёл статью о Фолклендских островах, куда Тэтчер решила отправить целый флот. Насколько он понял, никакой особой ценности в плане природных ресурсов и прочего у Фолклендских островов не было, и происходящее скорее напоминало ссору двух детей, которые отнимают друг у друга неинтересную игрушку, чья притягательная сила исключительно в том, что её хочет другой. Он мысленно отметил эту тему галочкой, чтобы обсудить с Густавом, после чего внутри у него как будто что-то кольнуло. Он разобрался с грязной посудой и занялся холодильником, который давно никто не мыл, хотя официально это входило в схему уборки. Изначально они договорились, что у каждого будет по две полки. Но такая система не приживается, если нельзя определить, кто хозяин еды. Чашка с бобами в расколе: Андерс. Полпалки колбасы в фольге: Мартин. Стеклянная банка с проросшими семенами: Андерс. Полпорции чего-то, что, видимо, когда-то было спагетти с мясным соусом: Мартин. Пастернак: Андерс. Открытая банка консервированных шампиньонов... Сморщившись, Мартин выбросил её содержимое. Бобы уже тоже пахнут не очень, Мартин думал, стоит их выбрасывать или нет, когда телефон зазвонил снова. Девять сигналов. Он пошёл в ванную и долго стоял под душем.

До обеда он занимался в кафе, домой вернулся вечером. Была суббота, он просто шатался по квартире, заглянул в комнату Андерса, где не обнаружил решительно ничего интересного, и никак не мог решить, чем заняться. Можно было позвонить девушке, с которой он иногда встречался, и сходить в кино, но, с другой стороны, там не шло ничего, что он хотел бы посмотреть. Он рассматривал корешки книг на полке Андерса, когда взвизгнул дверной звонок.

На несколько секунд Мартин замер, думая, что делать дальше. Но когда звонят в дверь, альтернатив немного: он открыл.

Густав топтался на коврике у двери. В тонких руках пакет из алкогольного магазина, в нём что-то звякнуло. Лицо осунувшееся, на щеках лёгкая щетина.

– Я звонил как сумасшедший, – сообщил он. Аккуратно поставил пакет на пол, снял пальто.

– Я занимался, – ответил Мартин.

– Это всё ещё Декарт?

– Декарт был прошлой зимой. Сейчас логика.

Густав сразу понял, что Андерса нет («родители в отъезде»), и начал искать в кухонных шкафах какие-нибудь бокалы, чтобы не пить из обычных стаканов.

– В общем, эта выставка... – Он покачал головой и открыл морозильник, чтобы взять лёд. – Я просто её не переживу.

– Какая выставка?

– Весенняя выставка!

Мартин вспомнил, что учебный год в Валанде заканчивается большой выставкой, на которой студенты представляют свои работы. И это не только экзамен, но и шанс действительно продать свои творения, что, по мнению Густава, не очень хорошо.

– Но это же не раньше конца мая?

– У меня ничего не готово.

- У тебя куча работ.
- Да, но они недостаточно *хороши*.

В голосе Густава звучало явное отчаяние. Мартин попытался вспомнить картины, которые он видел осенью и весной. Судя по всему, Густав продолжал заниматься этими его неопрытными натюрмортами и пробовал писать портреты.

- А что в них, собственно, плохого?

*Динь-динь*, упал в бокалы лёд.

Густав вытащил бутылку виски.

- Отсутствие идеи, – ответил он. – Работы есть. А идеи нет.

– Что ты подразумеваешь под идеей? – строго спросил Мартин, в конце концов, философ у них он.

Взгляд Густава выражал раздражение и отчаяние.

– У других всегда столько мыслей о том, что они хотят сказать своими работами, – произнёс Густав. – А у меня их вообще нет. Я просто рисую.

- И в чём здесь проблема?

– Я не знаю, что отвечать, когда спрашивают, «что я намерен исследовать» и всё такое. – Он закурил, хотя Андерс требовал, чтобы в квартире не курили, якобы потому что у него астма. На всякий случай Мартин открыл окно.

– И мне не надо было перерисовывать эти фотографии. Теперь все спрашивают: «Ты хочешь работать, опираясь на фото?» В первый раз я ответил, что это проще, чем притащить сюда стол, заставленный бутылками, а они начали смеяться и решили, что я валяю дурака или шучу. А потом снова спросили... Я думаю, может, мне всё переделать без фотографий...

- Ты не успеешь.
- Ты только что сказал, что у меня куча времени.
- Чтобы закончить – да, но не чтобы начать всё сначала.

Густав какое-то время сидел молча. Потом сказал, что Мартину лучше самому посмотреть, что у него получилось, и, кстати, в Валанде был, как всегда, праздник.

Они сели на паром, скользивший по иссиня-чёрной глади. Густав захотел остаться на палубе, чтобы смотреть, как в воде отражаются огни. Он приободрился и всю дорогу рассказывал какую-то запутанную анекдотическую историю о своём однокурснике. Когда Густав описывал своих друзей из Валанда, они все казались невероятно весёлыми, умными, талантливыми и заслуживающими любви. А потом Мартин с ними познакомился. Шандор Лукас, длинноволосый венгр с усами Заппы, вообще никак не ассоциировался с теми глубокомысленными комментариями, которые ему приписывал Густав. Сиссель, что «шестым чувством угадывала эмоциональное состояние других», по большей части сидела в углу и грызла ногти. Шутник Уффе оказался дёрганым и нервным, задавал одни и те же вопросы по несколько раз и вообще вёл себя как параноик.

– Он становится таким под кайфом, – сказал Густав. Уффе лелеял «совершенно безумный» проект – построить стену из телевизоров, где только три телевизора должны работать. Но пока его вклад в искусство заключался в том, что он всё время сидел в мастерской, смотрел фильмы ужасов и курил травку.

Паром причалил на Линдхольмене. Они поковыляли к школе. Густав так и не объяснил, почему не пришёл накануне, и не сделал этого позже. О чём бы ни заходила речь, он постоянно возвращался к весенней выставке, как будто ходил по кругу, неизбежно возвращаясь в одну и ту же точку. И с каждым новым витком наращивал подробности.

– Я просто думаю... – говорил он, опускаясь в кресло, – ...а что я, собственно, могу? Что у меня получается хорошо? Я же жалкая копия Улы Бильгрена <sup>31</sup>, и мой единственный

---

<sup>31</sup> Ула Бильгрэн – шведский художник и теоретик искусства.



талант – точность. Но кому сегодня нужна *точность*? А? И потом, когда *точность* считалась искусством? – Последнее слово он даже не проговорил, а выплюнул. – Искусством?

– Фотореализм, – обронил кто-то.

– Который был новым и интересным лет десять-пятнадцать назад, – вклинился кто-то другой и умолк, потому что сидевшая рядом с ним девушка ткнула его локтем. Густав как будто ничего не слышал.

– Я имею в виду... может ли точное воссоздание реальности считаться искусством? Или искусство рождается в том пространстве, которое разделяет изображаемое и изображённое?

Кто-то кивнул.

– Но кому, нафиг, нужна реальность? – Густав наклонился вперёд и налил себе ещё вина. – Реальность – это противоположность искусства, если цитировать... цитировать... ну, вы сами знаете кого... – Нетерпеливый взмах свободной рукой, разрозненные смешки.

Общий разговор переключился на собственно определение постмодернизма, а Густав понизил голос так, чтобы его мог слышать только Мартин. Он был на выставке этого приятеля Шандора Карла Микаэля, как там его, да, фон Хаусвольфф. И ни фига не понял. Но Шандор говорит, что это хорошо. И это наверняка так. Но, с другой стороны, Шандор говорит, что Густав – это «школа Одда Нёрдрума», что бы это ни значило. А Густав не уверен, что ему вообще хочется принадлежать к чьей-либо школе. Потом он посмотрел, кто такой Нёрдрум, и он, конечно, вполне ничего, и действительно у них есть что-то общее, хотя Густав видел только репродукции...

Дальше Мартин потерял нить, а Густав продолжал говорить, грустно глядя на дно бокала:

– Холст два на три метра, подумать только...

Следующий виток случился через час, когда Мартин обсуждал перспективы панк-культуры, опираясь на диалектику Гегеля.

– Короче говоря, – объяснял он, – панк ассимилируется в мейнстриме – синтез, если по Гегелю. То есть сама суть панка, панкизм, будет нейтрализована... – В этот момент рядом с ним сел Густав.

– Друг мой, что-то ты не очень весел, – сказал Шандор-усы-как-у-Заппы.

– Где твои очки? – спросил Мартин.

Густав молча раскрыл ладонь. На ней лежали аккуратно сложенные очки в тонкой металлической оправе. Глаза у него были большие, ясные и беззащитные. Он сидел, скукожившись, и курил сигарету, на которой рос и магическим образом не падал столбик пепла.

Шандор рассмеялся:

– Ты не хочешь надеть очки?

Густав покачал головой.

– Но ты же ничего не видишь?

Густав покачал головой ещё раз.

– Милые маленькие идеи, они приходят... – произнёс он, перебирая на столе винные бутылки.

– Что?

– Мне надо заканчивать с фотографиями. Фотографии переворачивают всё с ног на голову.

– Но фотографии интересны, Густав. – Голос Шандора звучал мягко и по-дружески. – Мы с тобой говорили об этом. Ты снова о том, что такое искусство, да? Где разделительная черта между искусством и, например, документалистикой.

Густав что-то пробормотал в ответ.

– Что ты сказал?

– *Документалистика*. Я забыл. Я думал об этом, но забыл...

Рядом с Шандором села девушка, разговор переключился на что-то другое, а Густав тихо, как бы себе самому, сказал:

– ...и всё же они плохие...

Мартин вздохнул:

– Ты снова о работах?

– Я посредственность. Я неинтересен.

– Прекрати, – сказал Мартин. – Ты, пожалуй, самый талантливый человек из всех, кого я знаю. – И, только произнеся это вслух, Мартин осознал, что это правда.

Но Густав смотрел на него мутным и печальным взглядом.

– Мартин... я всегда тебе доверял... но ты *предвзят*. Предвзят. Тебе бы понравилось, даже если бы я насрал на холст и размазал по нему собственное дерьмо.

– Нет, я бы решил, что ты мерзавец и ублюдок.

– Мне нужна критика. – Он сфокусировал взгляд на точке под подбородком Мартина. – Но серьёзную критику фиг получишь. Если ты странный, то ты хороший. Если ты не странный, то ты скучный. Who wants yesterday's newspaper <sup>32</sup>?

– Но ты же всегда расстраиваешься, когда слышишь критику. Как когда этот твой однокурсник сказал, что ты... что он тогда сказал...

– ...прибран и сдержан. А *сам*. Как будто его вещи – это что-то особенное. А? А это просто китч. Милые зверюшки и прочая дрянь... он же даже животных не любит. Он однажды пнул кота. Ни в чем не повинного кота.

Густав с отвращением оглядел пространство в поисках заклятого врага, а тот весело пританцовывал рядом с девушкой, исполнявшей эротичный танец прямо рядом с динамиком. Вспомнив об очках, Густав с преувеличенной аккуратностью водрузил их на нос.

Мартин случайно посмотрел на часы – половина второго. Последний автобус через пятнадцать минут. Он не настолько пьян.

– Слушай, – он положил руку на плечо Густаву, – мне пора. – Густав ответил что-то невнятное и помахал сигаретой.

В автобусе он чуть не заснул, но умудрился выйти и пересесть у вокзала. В кармане пиджака лежала «Экзистенциализм – это гуманизм», и он с большим трудом одолел пару страниц.

Дома было очень тихо. Мартин поймал себя на том, что скучает по гитарным переборам и голосам, которые с азартом обсуждают коммунистов и синдикалистов, и не прочь услышать «если хочешь, там осталась порция картошки с мясом». Он сделал себе бутерброды, выпил стакан молока, разделся, почистил зубы, рухнул в кровать и вырубился.

Кажется, не прошло и десяти минут, как раздался звонок.

Мартин растерянно смотрел в потолок. Он не понимал, почему проснулся, но тут темноту прорезал очередной сигнал. Тишина в десятки раз увеличивала его громкость. По пути на кухню он стукнулся о дверной косяк, у него потемнело в глазах, и ему пришлось на пару секунд опереться о раковину, чтобы прийти в себя.

– Мартин? – немного испуганно спросила Сиссель, в трубке отдалённо слышались и другие голоса.

– Что случилось?

– Ты должен приехать и забрать его.

– Что?

– Густава! Он в полном ауте. Он нас не слышит – просто лежит, и всё...

Мартин зажёл свет. И тут же зажмурился.

– Где вы?

---

<sup>32</sup> «Кому нужны вчерашние газеты?...» (англ.). – Песня группы The Rolling Stones.

– Кунгспорт.

– О'кей. Оставайтесь, я скоро буду. Следите за ним.

Снова отдалённые голоса.

– Мы вообще-то собирались ещё на одну вечеринку, – начала было Сиссель.

– Какая, к чёрту, вечеринка, стойте там!

Ему было приятно наорать на Сиссель и бросить трубку. Он посмотрел на часы – четверть пятого. Они собираются *на вечеринку*. Идиоты.

Он натянул джинсы и рубашку. Проверил кошелек – две смятые десятки. Открыл ящик, где хранил деньги на чёрный день. Почувствовал удары сердца, когда увидел, что там пусто, вспомнил, что отдал всё Андерсу в счёт квартплаты перед его отъездом в Албанию. То есть денег на такси нет. А трамваи уже не ходят. Он может поехать на велосипеде к родителям и взять машину – три секунды эта идея казалась отличной, пока он не вспомнил, что, скорее всего, отец уехал на машине на работу, да и сам он формально пьян. Чувствовал он себя совершенно трезвым и мог без проблем сесть за руль, но если что-нибудь случится, он реально влипнет... Мартин выругался и пнул ногой ящик из-под пива.

Поехать туда на велосипеде? Но если Густав не может идти с ними дальше на вечеринку, вряд ли он в состоянии сесть на велосипедный багажник.

Пер, вспомнил Мартин. У Пера есть машина. Он живёт на Мариаплан и подрабатывает в бюро услуг. Вдруг он трезвый, несмотря на то что суббота. Мартин открыл свою телефонную книжку. Пер вроде бы не прочь видаться с ним чаще, и это обнадеживало, да и выбора в любом случае не было; он набрал номер – может, он позволит взять свою машину.

Четыре гудка. Пять. После чего в трубке раздался сонный голос Пера. Мартин объяснил ситуацию.

– Нет проблем, – без колебаний ответил Пер. – Я отвезу. Через десять минут у подъезда притормозил его «жук».

Над городом разворачивался облачный рассвет. Крики чаек, на улицах ни души, разве только почтальон с утренними газетами или случайный гуляка. Пер включал поворотники и останавливался на красный, даже если на обозримом расстоянии не было ни одной машины.

– И это его прекрасные друзья из Валанда, – проговорил Мартин, сам удивившись, насколько сердито это прозвучало. – Что же они не позаботились о нём, раз они такие прекрасные? Но чуть что, и они звонят мне. Могли посадить его в такси или придумать ещё что-нибудь...

На площади Кунгспортсплатсен не был никого, кроме трёх фигур на ступенях рядом с конной статуей.

– Вы остановились перекусить по дороге? – произнёс Уффе.

Мартин выразительно посмотрел на него и ничего не сказал.

– Симпатичный свитер, – проговорил Уффе и зажёл сигарету.

– Он сказал, что просто хочет немного отдохнуть, – сообщила Сиссель. Она выглядела усталой и куталась в куртку из каракуля, которую Мартин уже видел на Шандоре. Самого Шандора поблизости не было.

– Он напился вусмерть, и нам не удаётся привести его в чувство.

Густав полулежал на ступенях, не подавая признаков жизни. Без очков.

– И вам не пришло в голову позвонить в скорую? – спросил Пер, включив свой медицинский тон, после чего наклонился и пощупал у Густава пульс. Сиссель сделала большие глаза и глубже укуталась в каракуль:

– Мы не думали, что...

– В скорую, – фыркнул Уффе.

– Это могло бы очень плохо кончиться, – сказал Пер, уперев руки в бока и посмотрев на Уффе и Сиссель так, как будто те были безответственными родителями.

– Мы просто собирались на одну вечеринку, – жалобно проговорила Сиссель.

Они поставили Густава на ноги. Его веки вздрогнули, он пробормотал что-то нечленораздельное.

– Плохо, если его вырвет в машине, – сказал Пер.

Но тут обошлось – сделав всего несколько шагов, Густав споткнулся, упал вперёд, и хлынувшая из него каскадом рвота попала Мартину на ботинки. Он заметил, что это была только жидкость винного цвета, без остатков пищи.

Сиссель подавила отвращение.

Пер подошёл ближе и вытер Густаву рот носовым платком. Тот по-прежнему что-то мычал, но дал усадить себя на заднее сиденье машины.

– А вы не могли бы заскочить на Редбергсплатсен? – крикнул им вдогонку Уффе.

## IV

ЖУРНАЛИСТ: Вы выросли в семидесятые, в годы прорыва так называемой исповедальной прозы. Сейчас популярен автофикшн, беллетризованные мемуары. Что вы думаете об автобиографии как жанре?

МАРТИН БЕРГ: Ставить знак равенства между жизнью писателя и его трудами – это всегда упрощение. О некоторых событиях можно сказать, что они «случились» [*жестом показывает кавычки*], но текст отличается от реальности. Что бы вы ни делали, между ними всегда будет зазор.

Я думаю, что этот зазор необходим для существования именно того, что и называется литературой. И искусством в целом. Даже если я *точно* знаю, что хочу написать, до конца мне это не удаётся. Создать идеальный образ мира невозможно. Нельзя быть полностью честным или откровенным, потому что опыт всегда пропускается через фильтр субъективного восприятия. Даже с самыми искренними намерениями я бы не смог написать истинную автобиографию. И это подчас мешает людям – им необходимо одно из двух, либо *правда*, либо *вымысел*. Но литература неизбежно обитает в том электрическом поле, которое образуется между ними, и это просто надо признать.

\* \* \*

Летом после первого курса университета они предприняли комбинированный художественно-фестивальный тур в Данию. В планах был сначала Копенгаген, потом «Луизиана», Скаген и, наконец, фестиваль в Роскилле. Мартин хотел увидеть U2, Лунделя и Эббу Грён. Густава больше интересовал сам фестиваль как действие. Они обзавелись двухместной палаткой, но ни один не знал, как её устанавливать. Мартин сидел за рулём родительского «вольво», Густав рядом, он курил, включал радио и подпевал. Периодически просил остановиться на заправке, где покупал свежий выпуск «Афтонбладет», солнечные очки модели «авиатор», пакет луковых чипсов или мороженое («Пиггелин» Мартину, «Корнетто» себе). Периодически сокрушался, что так и не получил права, не сильно, впрочем, по этому поводу огорчаясь.

С парома Густав позвонил своей копенгагенской знакомой и спросил, не смогут ли они переночевать у неё на полу. Он на удивление неплохо говорил по-датски или просто передразнивал, но так, что это не походило на пародию.

– Фредерика – золото, – сказал он. Они стояли у леера. Мартин не спускал взгляда с полоски суши, которая становилась шире и ближе.

– Я думал, ты с ней уже всё решил.

– Почему это?

– Ты же говорил, что спрашивал у знакомой, можно ли нам остаться.

– Ну я имел в виду в принципе.

– М-да.

– Она живёт в каком-то переулке рядом с Центральным вокзалом. – Он порылся в карманах в поисках бумажки с адресом Фредерики Ларсен.

– Вот, держи. А то я потеряю.

– Откуда ты её знаешь?

– Она жила в городе несколько лет назад, у неё был роман с моим знакомым, Закке, ты его знаешь, вы вроде где-то вместе играли. Мне кажется, ты и с ней пересекался, нет? Но Гётеборг не Копенгаген, у Закке была какая-то чёрная полоса, да и отношениями он не сильно дорожил, в общем, Фредди вернулась домой.

Густав вообще не умел читать карты, и его главный метод определения местонахождения заключался в том, чтобы опустить стекло и спросить дорогу у прохожего. Так что нужный адрес они нашли не сразу.

Здание представляло собой памятник ушедшему величию: шесть этажей, светло-серая штукатурка, высокие окна. Входные двери небесно-голубого цвета, несколько бесхозных велосипедов на цепях у водосточной трубы, в списке жильцов у домофона много вычеркнутых и написанных от руки фамилий.

– Фредди, Фредди, – бормотал Густав, нажимая на кнопку. Через несколько секунд зажужжал открывающийся замок, и они пошли вверх по лестнице, пока не увидели женскую фигуру в проёме двери. Она казалась смутно знакомой: тёмные волосы, полосатый свитер и клетчатые брюки, на пальцах серебряные кольца, живые глаза подведены на манер Сюзанны Бреггер<sup>33</sup>. Это она, вспомнил Мартин, та, которая однажды посоветовала ему прочитать Германа Гессе.

– Густав! – воскликнула она с датским произношением, образующимся где-то в глубинах рта, – Гоуусс-та!.. А ты, наверное, Мартин! – Последний гласный выпал. – Март-н. Я о тебе много слышала. *Очень* рада встрече. – Она взяла его руку обеими руками и улыбнулась. Ослепительная улыбка, Мартин не понимал, чем он её заслужил. Вряд ли он произвёл на неё особенное впечатление, когда они говорили о «Степном волке»? К собственному ужасу, он почувствовал, что смущается и тупит, а когда Фредерика показывала им квартиру, он не понимал и половины её слов. Заметив это, она перешла на более близкий к шведскому вариант родного языка.

– Это кухня. Еду из холодильника можно просто брать, если она там есть... ванная, краны, если что, нужно подкрутить. Это моя комната... – Промелькнули японские фонарики из рисовой бумаги и ширма для одежды из бледно-жёлтого шёлка. – ...а это гостиная...

Повсюду вещи и коробки. Комнату, где им предстояло жить, Фредерика использовала для съёмок фильма, в котором сама собиралась выступить и автором сценария, и режиссёром, и оператором.

– Малобюджетное кино, – сообщила она. – Своего рода камерная пьеса, но сквозь фильтр сюрреализма... основное действие происходит в этой комнате. Исполнительница главной роли уехала навестить родителей, так что я всё равно не могу работать. Спальное место, увы, только такое, но зато тут все улягутся. Рекорд был, кажется, пять человек.

Большую часть комнаты занимал огромный круглый матрас, который лежал прямо на полу. Окна и потолок были задрапированы красной, лиловой и розовой тканями, что делало комнату прохожей на цирк-шапито.

– И где вы только такое берёте? – сказал Густав. – Позвольте узнать? Эти датчане всегда и во всем впереди.

Фредерика улыбнулась.

---

<sup>33</sup> Датская писательница.

– Завтра у меня маленькая премьера. В восемь. А сейчас мне пора на работу. Чувствуйте себя как дома. Вот ключи. – Она протянула Мартину связку и, быстро собравшись, уже через минуту захлопнула за собой дверь.

– Энергичная девушка, – заметил Мартин и, отодвинув драпировку, выглянул в окно. Судя по неоновым вывескам, это был район гостиниц, проституции и скотобоен. Приют для беглецов и плоти. Вильнув велосипедом, Фредерика поймала равновесие и уехала.

– Да, у неё всегда тысяча дел, – сказал Густав, перебирая фигурки, выстроенные в ряд на комод, одну из них он поставил себе на ладонь. – Не думаю, что она что-нибудь заработает на этом фильме. Ради денег она вкалывает в психиатрической клинике. Однажды даже раздобыла там смиренные рубашки, чтобы сделать видео для одной группы. Но когда солиста одели и перевязали, у него случилась паника, а другие не могли надеть эти рубашки, потому что им надо было играть, так что ничего не вышло.

– Всё равно забавная идея, – сказал Мартин.

– А как-то она записала саундтрек, где сама играла на виолончели, хотя она вообще не умеет играть. Звучало, понятное дело, ужасно. Смесь Psycho и Эббы Грэн, на струнных. – Он поставил фигурку на место. – В общем, этот автопробег, трасса, о лакицах я вообще молчу, лично у меня вызвали дикую жажду, и я просто мечтаю о *рюмочке* и пиве. Что скажешь?

\* \* \*

Мартин проснулся оттого, что его тряс Густав.

– Доброе утро, пора вставать! – вопил он, имитируя датский. – Кофе готов. Фредерика приготовила его по-турецки. Это вкусно, но с гущей надо поаккуратнее.

– Сколько времени?

– Пробил час Хаммерсхёйя.

– Кого?

– Вильгельма Хаммерсхёйя. В Глиптотеке.

Мартин сел. В голове шумело, драпировки как будто покачивались. Возможно, он ещё не протрезвел.

Вчерашний тёплый и ленивый июльский вечер начался с прогулки в поисках обменного пункта. Главной целью Густава была Христиания и неожиданно – джаз-клуб. Они выпили пива и покурили немного травки, съели свиные сосиски с горчицей, Густав настаивал, что так положено туристам. А в конце оказались в каком-то заведении с тёмными стенами и плотной, поднимающейся до потолка завесой дыма, где действительно играл джаз-квартет во главе с реально чокнутым кларнетистом. А потом были незнакомые улицы, длинные шеренги фонарей, которые, как они надеялись, выведут их куда надо, вынырнувший из мрака доберман, похожий на Цербера. На обратном пути они заблудились и попали на территорию скотобоен.

– *Чиооорт!* – кричал Густав на этом своём датском. – Мы не можем здесь оставаться! Мы же два поросёнка! Мы рискуем жизнью!

Им как-то удалось найти голубую дверь и квартиру Фредди, где они немедленно рухнули на круглый матрас. Что, возможно, произошло совсем недавно.

– Мне что-то плохо...

– А кому, чёрт возьми, сейчас хорошо, – ответил Густав. Выглядел он таким забулдыгой, что Мартин не удержался от смеха: всклокоченные волосы и перекрученная футболка, которая как будто сопротивлялась, когда он её надевал. Полинявшие длинные кальсоны, не доходившие до щиколоток и обнажавшие тощие, почти прозрачные бледные икры, напоминающие – как показалось полусонному Мартину – спаржу на этих его любимых голландских натюрмортах.

Мартин вытянул вперёд руку, а Густав стащил его с матраса и заставил встать на ноги.

– Кофе сделает своё дело, вот увидишь. Ну, и всегда есть возможность пропустить по *маленькой*.

– Слушай, никаких *маленьких* раньше трёх часов больше не будет.

Кухня у Фредди оказалась на удивление удобной. Ни гор посуды, ни свалки старых газет на столе, ни грязных пепельниц, ни забытых в углу кастрюль с остатками бобов, успевших мутировать в новый биологический вид. Всё было явно неновым – у шкафов не хватало пары дверец, кряжистый холодильник сделали ещё в пятидесятых, – но в кухне царили чистота и порядок. На стене над столом висели обрамлённая афиша *16th Chicago Film Festival* и графика: небоскрёбы в оранжево-синих тонах. На полке лежал бонг, рядом аккуратными рядами чайники и жестяные банки. Это была кухня взрослого человека. Мартин понял, что неотрывно смотрит на пакет в горошек с двумя венскими булочками. Ему бы никогда не пришло в голову пойти и купить венские булочки двум похмельным шведам, которые, к тому же, на столько лет младше тебя.

– Ну, что я говорил! – воскликнул Густав. – Она – золото. А в холодильнике сосиски и прочее.

Он налил кофе Мартину и анисовую водку себе.

– Ну давай! – И опрокинул рюмку так, как будто это было лекарство.

Глиптотека находилась недалеко, но идти быстро они не могли. Они заприметили её большое красное кирпичное здание с арочными перекрытиями, ещё когда искали дом Фредерики. «Новая глиптотека Карлсберга» – значилось на табличке, и они оценили узаконенную связь между искусством и пивом. У самого слова «глиптотека» был янтарный отзвук девятнадцатого века. Что оно означает, Мартин точно не знал.

– Заметил, какая злая была билетёрша? – спросил он, когда они вошли в зимний сад с его тяжёлым тропическим воздухом.

– Что? Я не обратил внимания. Хочешь навестить мумий? – Густав развернул карту, которую взял у входа. – Или статуи с отбитыми носами? Или пойдём сразу к старику Вильгельму?

– Да, лучше так, – ответил Мартин.

Хаммерсхёй, откуда-то из тумана выплыло то, что он читал, готовясь к поездке. Творил на рубеже столетий. Тихая жизнь, лишённая событий. Женат на ничем не примечательной датчанке, с юности и до конца жизни. Скудная биография: ни сумасбродств Ван Гога, ни страстных любовных историй Пикассо, ни мрака и кошмаров Мунка. Большая часть его работ – комнаты, настолько пустые, что кажется, будто в них никто не живёт, рассеянный свет и тяжёлая атмосфера. Портреты одетых в чёрное женщин, стоящих спиной к зрителю. Несколько волшебных пейзажей, излучающих романтический золотой свет. Станным образом лучше всего Хаммерсхёйю удавалось передавать настроение на тех картинах, где не было людей.

Густава особенно восхищали интерьеры.

– В них как будто можно войти, да? Тыходишь, и тебе неприятно и странно. Как будто тикают часы, звук высокий и тонкий. А на улице всегда конец зимы, представляешь, такой липкий снег. Ничего *никогда* не произойдёт.

Мартину на самом деле больше всего понравилось само здание музея. Зимний сад с куполом был очень красивым, равно как и длинные галереи с мозаичными полами и стенами в приглушённо-красных, зелёных и пыльно-золотых тонах. Всюду бесконечные ряды мраморных статуй. Создавалось впечатление, что время остановилось и ты попал в измерение, парящее над повседневностью.

– Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины, – процитировал Мартин. Ницше они в университете не проходили. Всё, что было интересным – Ницше, Кьеркегор, Сартр, – всё это не нравилось преподавателям, как будто это была не настоящая философия, а некая популяризи-

рованная версия, обращаться к которой следует в гимназии, а в университете можно снизить развее что до общего обзора. Вместо них изучают Рассела и Фреге, Поппера и Витгенштейна.

– Да, – согласился Густав, – всё так.

Как и было обещано, Фредерика организовала показ фрагментов своего фильма. Повесила в качестве экрана простыню, разбросала по полу подушки, и к девяти у неё уже собралась толпа датчан. Сама она, с уложенными волосами, в коктейльном платье в черно-красную диагональную полоску, являла собой идеальное сочетание стиля Сьюзи Сью и истинной элегантности. Фредди представила их своим друзьям, и Мартин чувствовал себя на удивление уверенно, хотя все они были старше и он понимал не больше трети из всего, что они говорили.

Фильм показывали в комнате-шапито. В розоватом полумраке. Женщина лет тридцати лежала на круглом матрасе среди подушек. Довольно долго она ничего не делала, только листала газеты, пыталась зажечь и выкурить сигару или с отсутствующим видом пила грог, бокал балансировал на книге, которая лежала рядом с ней на матрасе. Камера не двигалась, и когда в какой-то момент женщина встала, она полностью исчезла из вида, а когда вернулась, в руках у неё появилась пачка печенья. Потом была сцена с диалогом, партнёр сначала находился за кадром и ничего не говорил. Потом он лежал рядом с ней, и на экране застыли их лица крупным планом в профиль. Мартин понимал только обрывки фраз. Реплики разделялись длинными паузами. «*Jeg håbde*<sup>34</sup>, – говорила женщина. – *Jeg ventede altid for dig at forstå*»<sup>35</sup>, – сказал мужчина. Простые царапающие звуки саундтрека. Никакой настоящей музыки.

Потом все хлопали и говорили, что это потрясающе. Фредерика угощала вином, и Мартин оказался на скрипучем диване с каким-то её гётеборгским приятелем, который говорил о синтезаторах, сектах, чёрной магии и собственном опыте употребления дряни. Это был скорее не разговор, а монолог, и Мартин слушал его примерно час с задней мыслью, что когда-нибудь и как-нибудь это пригодится ему для романа. Потом он ушёл на кухню, сказав, что хочет что-нибудь выпить, и столкнулся там с молодым человеком в чёрной водолазке.

– Ты швед? – спросил он.

– Да, – ответил Мартин.

Парень в водолазке представился и спросил, читал ли Мартин Стига Ларссона, которого он сейчас переводит на датский. Ему попало одно незнакомое выражение, и он хотел бы уточнить. Как же там было... Он щёлкнул пальцами и в нетерпении откинул со лба чёлку, но вспомнить, нет, не смог. Вот так всегда и бывает, когда рядом появляется эксперт, рассмеялся он.

И отчасти чтобы не возвращаться к любителю сект, а отчасти потому что этот Йен был таким приятным – пусть и не всегда понятно говорил, – Мартин задержался на кухне. Оперевшись о кухонную столешницу, они обсуждали попытки Йена переводить и то, как Мартин мучается с романом, который пока представляет собой лишь кипу разрозненных глав, напечатанных на машинке и записанных в тетрадях от руки. Йен прекрасно понимал, насколько это бывает мучительно, он сам уже больше года занимается немного похожей историей, но сейчас его терзают смутные подозрения, что всё это полная чушь. Они подливали друг другу вино и смеялись над одним и тем же. Когда у Мартина закончились сигареты, Йен предложил пойти с ним до ближайшего табачного киоска, а когда они вернулись к Фредди, им казалось, что они знакомы много лет. Но в явно растущем внимании, которое уделял ему Йен, сквозило что-то, что Мартин не мог уловить: Йен кивал с чрезмерным энтузиазмом и стоял очень близко, там, конечно, было тесно, но всё равно так близко можно не подходить. И эти внезапные паузы в разговорах, когда Йен просто улыбался, глядя в пол... Мартин вспомнил, что давно не видел

---

<sup>34</sup> Я надеялась (дат.).

<sup>35</sup> Я всегда ждал, что ты поймёшь (дат.).



Густава. Надо его найти. Может, он тоже попался в лапы любителя монологов и его нужно спасать – из чистой вежливости Густав мог часами слушать любую ерунду...

Он как раз обдумывал подходящий повод, чтобы уйти, как тут появилась Фредерика и, прошелестев юбкой, встала ровно между ними.

– О, ты познакомился с Марином, – сказала она Йену, которому пришлось попятиться, уступая ей место. Потом она добавила что-то ещё, чего Мартин не понял, но тон говорил сам за себя. Йен приподнял бровь – слегка удивлённо, но спустя пару секунд удивление сменилось пониманием.

– Не знал, – сказал он по-датски. Фредерика закатила глаза и подлила вина в бокал Мартина. Йен, чей бокал был тоже пуст, вина не получил и выглядел так, словно хотел оправдаться, но, не сказав ни слова, просто покачал головой и ушёл.

– Пусть не прикидывается дураком, – проворчала Фредерика. – Он отлично знает, что делает. – Она сняла туфли и начала массировать пальцы, став на дециметр ниже. Тушь вокруг глаз размазалась, на колготках спустилась петля.

Не зная, что ответить, Мартин предложил ей сигарету.

– Я так рада, – сказала она, – что у Густава есть ты. Вы вдвоём такие классные. Ему повезло.

– Вот как...

– Знаешь, я всегда за него немного волновалась. Я думала, что он натворит всякого. Но иногда так приятно ошибаться, да? – Она стряхнула пепел в мойку. – С тобой, да, такое чувство, что теперь всё хорошо. Просто хорошо, что вы вместе.

Мартин разомлел от вина, слова Фредерики, заглушаемые смехом и гамом, долетали точно издалека.

– Густав очень хороший друг, – произнёс он в конце концов.

Фредерика тут же бросила на него быстрый взгляд:

– Хороший *друг*? – в её голосе прозвучала внезапная резкость.

– Хороший *друг*, – повторил Мартин.

– А-а, – она затянулась сигаретой и, прищурившись, посмотрела на него сквозь дым. – Я поняла. Хороший *друг*.

– Да.

– Хороший друг – это, конечно, тоже радость.

– Да... прости, мне нужно... – и сделав неопределённый жест, Мартин быстро ретировался из кухни.

Густава он нашёл в комнате-шапите, он сидел на краю матраса и сворачивал самокрутку. Звуки вечеринки сюда почти не долетали.

– Чем я заслужил такую честь? – произнёс он. – Я думал, ты всю ночь проговоришь со своим новым сердечным другом.

– С каким?

– С тем блондином-датчанином, с которым ты куда-то ходил.

Мартин плюхнулся рядом. Он так устал, что уснул бы как убитый прямо сейчас.

– Да это Йен. Мы ходили за куравом. Мне кажется, он пытался меня кадрить.

– Мало тебе девичьих орд, которые бегают за тобой в Гётеборге? Если к ним присоединится всё голубое сообщество, то тебе придётся эмигрировать в пустынные края, где ты сможешь обрести немного тишины и покоя.

Мартин шлёпнул его по руке.

– Ай, – вздохнул Густав. – Говори хотя бы, что у тебя уже есть девушка.

– У меня её нет.

– А как же Бритта?

Бритта, Бритта. Бритта с глазами, как у кошки, они познакомились за несколько недель до их датского турне.

– Там ничего серьёзного.

– Вы же договорились встретиться в Роскилле.

– Это можно сделать, и если нет ничего серьёзного.

– Тогда у Шандора ты целый вечер разговаривал *только* с ней. – Густав закурил и тоже лёг.

– Но все остальные хотели говорить только о том, существует ли поп-арт или его не существует. Что мне оставалось делать? Ты должен написать мне такие карточки с ответами, чтобы я знал, что говорить, если у меня спросят, что я думаю об Энди Уорхоле.

– Да ладно, ты можешь болтать о чём угодно.

– Но если дело касается Уорхола, то тут мой репертуар довольно ограничен.

– Я слышал, как ты говорил об Уорхоле часами.

– И я сказал что-нибудь умное?

– О да. Это были комментарии к сборнику цитат.

Мартин засмеялся и потянулся за сигаретой. Закрыл на миг глаза. Лучше, наверное, уснуть и сбежать от всего.

А завтра будет новый день.

## 7

Это, видимо, снова была пятница, и когда Санна отвлеклась от корректуры и спросила, какие у него планы на выходные, Мартин пробормотал в ответ что-то про театр. Это была потенциальная правда: он мог бы пойти в театр. Почему нет? Но до того как Санна успела задать следующий неприятный вопрос, зазвонил мобильный, и он, став важным-Мартин-ом-Бергом, кратким жестом в её сторону сообщил: «подожди, сначала я должен решить это».

Один за другим уходили сотрудники. Мартин оставался на рабочем месте и отвечал на письма. Последние солнечные лучи пронизывали комнату и плавили краски большой парижской картины Густава. По-хорошему, ей надо висеть в более просторном помещении – знаменитый реализм проявлялся лишь на расстоянии, – но Мартин любил рассматривать мазки и фактуру. В семь он погасил свет и ушёл.

– Это я.

Ответа нет. «*Les initials, les initials, les initials BB*», – пела Брижит Бардо за закрытой дверью в комнате Элиса.

На полу лежала школьная сумка сына, содержимое из неё наполовину вывалилось. Записная книжка в кожаном переплёте, несколько механических карандашей. И – вот неожиданность! – зажигалка. Мартин наклонился было посмотреть, что ещё скрыто в недрах сумки, но передумал.

Вместо этого он разулся, пошёл в кухню и начал готовить еду.

Почти закончив нарезать лук, вспомнил, что рецепт был на клочке, вырванном из газеты какое-то время назад. Наверное, он на полке в углу вместе с другими стихийно размножающимися бумагами. Посмотрев, Мартин обнаружил: оценки Элиса за девятый класс (вполне достойные, но не такие блестящие, как у Ракели), вырезанные рецензии, старые счета за электричество, неп прочитанный номер «Фактум», последний номер 10-tal, который он тоже не прочёл, весенняя программа Abf <sup>36</sup> (за прошлый год), каталог выпущенных фильмов, два десятка обведены кружочками (он видел три) и – несколько свёрнутых машинописных страниц.

Он вытащил их, нахмурился. Заголовок гласил:

Хага Ньюгата, 14:23

Мартин прочитал со случайного места.

Он сидел, глубоко погружившись в свою книгу, и, видимо, даже не заметил, что она вошла. И заметила ли она его присутствие, подняла ли взгляд, который, он знал это, был туманным и ясно-синим, как небо осенью или море весной, потому что всё её существо, казалось, пребывает где-то в другом месте. Никто не знал, о чём она мечтает и

Он не мог вспомнить, когда он это написал. Должно быть, давно.

Прочёл ещё несколько строк и вернул рукопись в самый низ стопки бумаг. Потом снова вытащил и швырнул себе на письменный стол.

Элис ел быстро и односложно отвечал на все вопросы, с помощью которых Мартин пытался завязать разговор. Потом сын скрылся в своей комнате, откуда раздались первые дрожащие аккорды «Амстердама» Жака Бреля. Через полчаса Элис вышел, облачённый в рубашку с галстуком-бабочкой и твидовые брюки на подтяжках. Он всегда тщательно следил за обувью,

---

<sup>36</sup> Шведский фонд образования рабочих.

расшнуровывал и зашнуровывал, не занашивал до состояния, когда ботинки или туфли теряли форму и разваливались.

– Ты куда?

– На улицу, – ответил Элис.

Мартин рассмеялся. Элис явно не понял почему.

– Есть книга, которая называется... Черстин Торвалль, – начал Мартин, но сын, не ответив, надел куртку. Даже не куртку, а ветровку. Слишком тонкую для раннего апреля.

Мартин услышал собственный голос:

– Ты не хочешь одеться потеплее?

– У меня есть шарф, – ответил Элис.

Мартин простоял у окна ещё какое-то время после того, как спина Элиса в слишком лёгкой куртке скрылась из вида. В голове вдруг возникла строчка из того романа: *её взгляд был туманным и ясно-синим.*

Надо выбирать либо одно, либо другое. Туманным и ясным одновременно быть нельзя. Густав обычно читал такие куски и просто сыпал превосходными степенями:

– Супер. Я действительно так считаю. Не хватает единственного, ты... тебе нужно это *дописать до конца.*

Мартин отыскал телефон и снова набрал номер. Прождал не меньше пятнадцати гудков на случай, если Густав, пойманный вдохновением, не мог сразу прервать работу, или потому что только что вышел в туалет. И автоответчика нет. В любой коммуникации не с глазу на глаз Густав был совершенно безнадёжным. Но при встрече всегда так искренне каялся, что на него нельзя было сердиться долго.

Недоверие Густава к развитию техники чисто теоретически заслуживало восхищения, но на практике последствия могли быть весьма печальными. Лазерные диски он отверг задолго до того, как их стали отвергать все. Дома у него стоял телефонный аппарат образца 1987 года, с большими кнопками, который ему нравился, потому что там был достаточно длинный шнур, чтобы прижать трубку к плечу подбородком и продолжать работать. Он так и не обзавёлся компьютером, у него не было ни электронной почты, ни мобильного. Иногда эти факты упоминались в статьях о нём, Мартину казалось, что журналистов они, с одной стороны, восхищают, а с другой – заставляют заподозрить некую патологию (ибо кто же откажется от предлагаемого интернетом сёрфинга на волне вечности?). Ни о каком принципиально враждебном отношении к технике и ко всему новому речь не шла. Густаву просто было неинтересно.

– Но в гугле ты можешь найти всё что угодно, – сказал Мартин.

– А зачем?

– Ну, не знаю. Тебе может понадобится что-то срочно проверить. Или ты захочешь изучить повадки гусеобразных птиц. Или на тебя внезапно нападёт страстное желание пересмотреть все работы Дантана.

– Тогда я пойду в библиотеку. И, кстати, у меня, кажется, где-то есть каталог выставки Дантана. Я могу посмотреть его. А на гусеобразных птиц мне плевать.

– Это просто пример. Ты мог бы отправлять электронные письма. Поддерживать связь с людьми.

– Но можно же звонить? Или писать?

Впрочем, на бумажные письма он тоже отвечал плохо. Читал и оставлял их на комод в прихожей, на каминной полке или подоконнике, где было полно посланий, которых постигла та же участь.

Свет в комнате не горел, и улица хорошо просматривалась. Пятна льда и лужи люте-гося на землю света фонарей. В парке вяза и каштаны, тёмные колоссы. Светящаяся жёлтым вывеска кафе «Зенит». На весну ни намёка.

Мартин снова нажал имя Густава. Черда безответных сигналов в прошлое. Может, стоит связаться с кем-либо из его стохгольмских друзей? Но вспомнить он смог только Долорес, а её глупо беспокоить без особой нужды. Проще всего, конечно, позвонить его галеристу, но был риск, что тот знает, где Густав, а Мартину не хотелось признаваться в своём неведении. Возможно, Густав просто уехал. Возможно, на какое-нибудь выставочное мероприятие, которое его заставил посетить Кей Джи. Возможно, беспокоиться не о чём.

И всё равно в голове у Мартина вертелся эпизод, случившийся несколько лет назад. Он приехал в Стокгольм по делам, и у него осталось свободное время. Густава он тогда тоже по телефону не поймал, хотя и пытался дозвониться до него не одну неделю, так что просто взял такси и поехал в мастерскую в Сёдере, проскочив в подъезд вслед за злобным мопсом, тащившим за собой женщину в наушниках. Позвонил, но ему не открыли, дверь, впрочем, оказалась не заперта. В пыльном полумраке гостиной Густав лёжа смотрел телевизор с выключенным звуком.

– А, это ты, – сказал он и выглядел при этом не слишком удивлённым.

– Я звонил. Как ты?

– Хорошо.

– Но ты же не отвечаешь.

– Да... – Густав сел и прижал пальцы к векам. Когда он открыл глаза, взгляд у него был мутным.

Мартин собрался сказать Густаву, что тот ужасно выглядит, но стадия, когда такое замечание могло освежить и сподвигнуть на какие-то действия, похоже, миновала; теперь это была просто горькая правда. Грязный свитер The Smiths, кальсоны. Тонкие бледные ноги. Дурной запах. Но больше всего пугало выражение лица – обнулённое, отсутствующее. Словно принадлежащее другому человеку, который просто воспользовался этим лицом.

Что было дальше? Наверное, он уговорил Густава принять душ. Наверное, он действовал напористо, чтобы скрыть свою растерянность. На кровати не было постельного белья, только махровое полотенце на матрасе. Мартин нашёл в шкафах чистые простыни. Перерегистрировал обратный билет и заставил Густава лечь спать. Туалет выглядел как коридор в студенческой общаге воскресным утром. У входной двери кучи неразобранной почты. В мастерской начатый холст, но палитра давно высохла, а тюбики с краской покрылись пылью. В холодильнике ничего, кроме полупустой банки маринованных огурцов, скрюченного тюбика майонеза и пачки сливочного масла. Раковина завалена посудой разной степени загрязнённости. На кухонной столешнице коробки из-под готовой еды. И пустые стаканы. Три бумажных пакета с пустыми бутылками скромно выстроены вдоль стены.

– У тебя был праздник? – спросит он позже, возможно, на следующий день, и Густав вздрогнет от резкости его тона.

*Праздник.* Именно праздником Густав всегда оправдывал заказ очередной бутылки, поход в ресторан посреди недели или желание выпить шампанского. Опыанение, по Бодлеру, ведьмин круг, всполохи золота в серых скучных буднях.

– Так, – сказала как-то давно Сесилия, – никто не веселится, только потому что ему просто весело.

\* \* \*

Элис давно исчез из поля зрения Мартина, когда в него вдруг попала хорошо знакомая фигура. Длинное пальто и натянутая на уши шапка, но дочь Мартин узнал сразу.

Переходя дорогу, Ракель окинула взглядом обе полосы проезжей части, а потом посмотрела вверх на окна квартиры. Мартин помахал ей рукой прежде, чем понял, что она его не видит; свет в комнате был погашен.

- Я уже подумала, что никого нет дома, – сказала она, переступая порог.
- Ты голодна?

Он разогрел остатки ужина, поинтересовался учёбой (она пожала плечами), спросил, как с рецензией (она зевнула). Поев, тут же надела толстые носки и улеглась под пледом на диване. Читала, как он заметил, не немецкую *Ein Jahr? Ein Tag?*, а Фрейда.

Мартин открыл пиво и расположился в кресле с рукописью, читать которую ему на самом деле не хотелось. Обстоятельное название намекало на переизбыток писательского усердия. У дебютной книги автора были неплохие отзывы и продажи, его приглашали на телешоу и брали интервью, но его мрачный, растиражированный в газетах, журналах и на афишах пресс-портрет всё время слетал с их выставочного стенда на пол, сколько бы клейкой массы они ни использовали, чтобы его закрепить, и шелест падения предвещал писателю ту же судьбу через несколько лет. Мартин довольно долго относился к нему с осторожным оптимизмом, приглашал на обеды и даже заплатил небольшой аванс. Через три года пришла новая рукопись, по сути, это была та же история, но лишённая прежнего остроумия.

– К сожалению, мы не можем взять это, – сообщил Мартин по телефону и закрыл глаза, когда на другом конце провода стало тихо. Мартин пожалел, что бросил курить. Хотя закурить его не тянуло. Но ему хотелось, чтобы его тянуло закурить.

На сегодняшний вечер у него есть сто пятьдесят страниц А4, и все они, судя по всему, повествуют о бедах и горестях молодого писателя.

– О боги, – пробормотал он, краем глаза отметив, что дочь не обратила внимания на его бормотание.

*Микаэль смотрел на серую воду. Твёрдая. Непроницаемая. Поверхность, просто поверхность. Ничего больше не видно. Поверхность. Глубина там, внизу. Он знал это точно – он чувствовал обещание глубины. Но не знал, как туда попасть. Начался дождь. Он поднял воротник плаща, позволив дождю погладить себя по голове. Закрыл свои серые глаза и попытался вспомнить эту цитату...*

- Будешь чипсы? – спросил он у дочери.
- Нет, спасибо.
- Ты же не худеешь?
- Ракель сдвинула книгу и закатила глаза:
- Нет, я не худею.
- Ты хорошо питаешься? Ты выглядишь слишком худой.
- Я просто не люблю чипсы.
- Ладно. – Когда она сердилась, в уголках рта у неё появлялась особенная линия.
- Ты теперь тоже не будешь есть чипсы? – спросила Ракель.
- Что?
- Ты же не перестанешь есть чипсы, потому что я их не ем?
- А-а, нет.
- Он сходил за упаковкой.

*...Стриндберга. «Каждый может написать по крайней мере один большой роман – о своей собственной жизни». Или что-то такое. Он слышал это в гимназии. От учительницы шведского. Хорошей учительницы, но он понял это только потом, когда уже было поздно. Но, может быть, он, Микаэль, исключение? Он не знает, как начать, не знает, как закончить... мимо течёт река. Одного цвета с гранитом. Такая же тяжёлая. У него нет вдохновения. Он внезапно развернулся и пошёл назад в город. Он должен сначала выпить, прежде чем...*

– Ты останешься на весь вечер?

– Да, – ответила Ракель.

– Никаких вечеринок? Никакого подбрасывания туфель к потолку? Никаких подпольных клубов?

Ракель вытянула руки вверх так, что где-то хрустнули суставы, зевнула и покачала головой:

– Нет, но я скачала пару фильмов. «Энни Холл» и «Разбирая Гарри», можешь выбрать.

– Как ты думаешь, Элис начал курить? – спросил он позже, когда Энни везла Элви домой и тот боялся за свою жизнь.

– Наверняка, – ответила Ракель. Без особой тревоги.

– Он сейчас слушает только Жака Бреля и Сержа Генсбура, – сказал Мартин. – И я заметил немного Ива Монтана.

– Идёт по твоим стопам, – сказала она и взяла пригоршню чипсов. – Такое уже было, сам знаешь.

Вскоре она уснула, укутавшись в плед и свернувшись, как ёжик. Во сне её лицо казалось детским, каким оно было не так уж и давно.

В детстве на вопрос, кем она хочет стать, дочь всегда отвечала «археологом, или профессором, или и тем, и другим». Взрослые воспринимали это как милое умничанье, но Мартин подозревал, что всё серьёзнее некуда. Она всегда была очень любознательным ребёнком. Он не знал, чем интересуются другие дети её возраста, но был вполне уверен, что это не Помпеи (погребённые в 79 году под пеплом и лавой и превратившиеся в жуткий памятник), не Александрийская библиотека (предположительно сгоревшая во время разграбления города какими-то варварами) и не мифологические истории о капризных и помешанных на власти богах и их проделках (об Афине Палладе, которая родилась из головы Зевса в доспехах и с копьём). Потом она переключилась на майя, Древний Египет, вымирающих животных, царскую Россию и путешествия во времени. Она читала исторические романы, непременно толстые и с сомнительными рисунками на обложках. Появлялись вещи с названиями «Королева Солнца» и «Дочь расы», этими кирпичами её, видимо, снабжал «наркодилер» из школьной библиотеки. Она устроила раскопки на прибрежной полоске рядом с домом бабушки и деда и нашла семнадцать бутылочных крышек, несколько матовых стёклышек и нечто, что, как она надеялась, могло быть костью шпоры игуанодона. В голове у Мартина не укладывался сам факт того, что вся эта информация может храниться в детском мозгу. Она могла сказать:

– А ты знал, что сфинкс в Гизе одинок? Обычно сфинксов всегда двое! – И улыбнуться удивительной, мечтательной улыбкой.

Это было в то время, когда Мартин отчаянно хотел *дать* что-нибудь дочери – всё что угодно, лишь бы это было то, что дал ей он. Задача усложнялась тем, что Ракель ни в чём не *нуждалась*. Все куклы она отдала Элису и упорно выселяла из своей кровати мягкие игрушки, за исключением довольно потрёпанного старого тюленя. Но при каждом удобном случае она устраивалась на диванчике в кухне и читала, поэтому он дарил ей только книги, что было даже выгодно, поскольку книги не облагались НДС.

И волосы заплетать он ей не мог. Обычно это делала Сесилия. Когда он пытался, косички получались кривые и слабые.

– Я могу сама, – говорила Ракель и делала себе косы, даже не глядя в зеркало.

Мартин снова попробовал позвонить Густаву, хотя уже было начало двенадцатого.

Никто не ответил.

Он продолжил читать.

## 8

Из кресла у панорамного окна отлично просматривался вход в Университетскую библиотеку. Каждый раз, когда входил новый посетитель, Ракель смотрела краем глаза, но тот, кто на первый взгляд казался похожим на Эммануила Викнера, всегда оказывался кем-то другим. В какой-то момент она заметила сутулого парня с такой же походкой и в такой же дутой замшевой куртке, как у Александра, и, хотя она сразу поняла, что это не он, сердце вернулось к нормальному ритму только через несколько минут. За последние три часа ей удалось написать не больше чем полстраницы эссе по «По ту сторону принципа удовольствия», и дяди точно след простыл.

Она хотела спросить у него насчёт тех картин в сарае. Подпись в углу – SW – могла значить только то, что это автопортреты. Дедушка Ларс, приняв приличную порцию коньяка, любил, конечно, посокрушаться в духе «Сесилии надо было поступать на факультет искусств», но Ракель не помнила, чтобы мама когда-либо рисовала. По всеобщему убеждению, талант она унаследовала от Ларса, хотя Ларса тоже никто не видел рисующим, по крайней мере, на протяжении долгих лет. Ракель, похоже, никак не использовала свою предрасположенность к живописи, а Элис, который действительно хорошо рисовал, был слишком ленив, чтобы чего-то добиться. В детстве и отрочестве Ракель достаточно насмотрелась всевозможных вернисажей, чтобы понять, что это тот редкий случай, когда Ларс Викнер, кажется, прав. Даже с учётом простой техники, эти пять картин из сарая свидетельствовали о силе и эмоциональности, чувстве формы и цвета. Да, написано рукой самоучки, но это было намного выше обычного любительского уровня.

Сосредоточиться на задании было сложно, потому что каждый мог оказаться Эммануилом и потому что на экране мобильного постоянно вспыхивали эсэмэски от Ловисы, которая сидела дома и готовилась к экзамену.

*Слушай, что ты об этом думаешь: стоит попытаться полечить моего приятеля от СДВГ (риталином) прямо во время экзамена?*

*Разумеется, по предписаниям ФАСС* <sup>37</sup>

*Или это хороший повод для введения более «тяжёлых препаратов»?*

*P. S. Шучу*

*Чёрт, засыпаю от скуки*

*Ты веришь, что я выбираю медицинский, находясь на государственной службе?*

*Ne quid nimis* <sup>38</sup>, написала в ответ Ракель и положила телефон в сумку.

На экране компьютера на последнем слове недописанного предложения мигал маркер. *Фрейд описывает принуждение к повторению следующими терминами*. Ни одной нормальной формулировки. Ракель закрыла компьютер.

Библиотека закроется через несколько часов. Есть шанс, что Эммануил ещё появится. Она, разумеется, могла бы позвонить, но раньше она никогда этого не делала, и к тому же у неё было ощущение, что заводить речь о картинах Сесилии лучше издалека. Фронтальная атака может обернуться чем угодно.

Чтобы потянуть время, она открыла *Ein Jahr*. Книга больше не выглядела новой, как будто её уже прочли. Но предложения просто кружили на месте, а альтер эго Филипа Франке было таким мрачным, что ей захотелось ему поаплодировать, хотя дошла она всего до два-

<sup>37</sup> Справочник лекарственных препаратов Швеции.

<sup>38</sup> Ничего лишнего, не превышай меру (лат.).



дцать первой страницы. Хватит лежать и отчаиваться, хотелось сказать ему. Что за манера? Это потому что тебя бросила женщина? Что изменится к лучшему, если ты будешь лежать и смотреть в потолок? (Или что он там делал, Ракель точно не запомнила, а искать было лень.) Конкретно – *ничего*. Ничего не происходит, если человек лежит и смотрит в потолок. Мир стоит на месте. Выходит и заходит солнце. По стенам перемещаются тени. Сквозь почтовую щель иногда падает газета. У соседа гудит водопровод. Но ничего не меняется. Всё остаётся прежним. Ты лежишь там, где лежишь.

Ракель пролистала несколько страниц вперёд, судя по всему, дальше в том же духе. Ну и пусть лежит и страдает, а она пойдёт домой. Медленно, потому что её тело казалось тяжёлым, будто налитым свинцом, она собрала вещи и застегнула пальто на все пуговицы.

Ветер на улице попытался сорвать с неё шарф. У склона стояли нарциссы с закрытыми бутонами. Дойти до Корсвэген – само по себе суровое испытание. Часы показывали половину шестого, слишком рано, чтобы прийти и сразу лечь спать. Надо выдержать хотя бы четыре часа, чтобы это не выглядело слишком жалко. Четыре часа для себя самой, Ракель, ты с этим справишься. Трамвай пришёл через восемь минут. Отлично. Можно убить немного времени, просто сидя на этой скамейке и глядя перед собой.

Если бы ехать нужно было дальше, она могла бы уснуть. Пойманная периферийным зрением, мимо проехала вывеска ПОМНИ О СМЕРТИ.

Четыре часа – это не безумно много. Четыре часа можно выдержать.

На коврике в прихожей кучи нераспечатанных писем. И горы газет. И стопки немытой посуды. Чистой сковородки больше нет, а то можно было бы пожарить яичницу. По идее, она уже должна быть голодной, поэтому она позвонила и заказала еду в тайском ресторане на углу. И поскольку у них не было доставки, она запахнула пальто, спустилась по лестнице вниз, прошла не меньше пятидесяти метров, подождала в наполненном чадом помещении вместе с толпой других людей, которым тоже срочно нужна была пища, преодолела те же пятьдесят метров в обратном направлении, держа в руках пластиковый пакет с горячими коробками, открыла дверь подъезда, весила та не меньше тонны, и снова поднялась по ступеням. И только в прихожей подумала, что могла бы воспользоваться лифтом. Но зачем упрощать, когда можно усложнить, да, Ракель Берг? Зачем выбирать лёгкий путь? Никаких простых решений, только всевозможные ненужные испытания, например, подняться пешком на четвёртый этаж, когда от усталости хочется выть, да? Зачем читать на шведском, когда можно читать на каком-нибудь ещё, лучше на немецком? Зачем довольствоваться освоенными языками, если вечерами по средам можно учить латынь? Может, лучше совсем скрыться от мира и полностью посвятить себя преодолению трудностей? Прекратить отвечать на звонки. А ещё лучше вообще выбросить телефон, чтобы тебя вообще никто никогда не нашёл. Забаррикадироваться дома. Непрочитанных книг тебе хватит на несколько лет. На лекциях в любом случае свободное посещение. Пиши свои эссе о принуждении к повторению и стремлении к смерти, о неизбежном уходе человека в ночь. На кого-нибудь это всегда произведёт впечатление. А выходить из дома, если понадобится, можно после заката. Пройтись по кладбищу. Или найти самый укромный угол в библиотечных катакомбах, куда точно не проникнут дневной свет и жизнь. И читать там свои книги. И писать там свои тексты. Не выходить из своего мавзолея, извлекая максимальную пользу из возможностей, дарованных усыпальницей.

В глубине одного из шкафчиков обнаружилась чистая тарелка. Ну, хоть что-то.

\* \* \*

С полчаса она смотрела сериал, но так и не увлеклась сюжетом, потому что не было сил вникать; вымыла волосы, походила из комнаты в комнату, сгребла в одну кучу всю почту,

разобрать которую решила потом, возможно, даже завтра, после чего встала возле кровати на колени и вытащила чемодан.

Истёртая старая кожа в выцветших наклейках – КАИР, АДДИС-АБЕБА, ФРАНК-ФУРТ, – на самом деле не было никаких причин его прятать. Папа появлялся на Фриггагатам очень редко, да и к тому же он, вероятно, не узнал бы чемодан, в котором Сесилия Викнер перевозила свои вещи из Швеции в Эфиопию в конце шестидесятых. Он долго стоял на чердаке в доме бабушки и деда, пока несколько лет назад Ракель тайком не притащила его сюда. Нашла она его случайно, во время одной из своих подростковых вылазок на чердак.

Тогда в чемодане лежали детские вещи из шестидесятых, аккуратно сложенные, принадлежавшие, очевидно, кому-то из младших детей, а потому не представлявшие никакого интереса. Но на внутренней стороне крышки было написано «СЕСИЛИЯ ВИКНЕР \* 1968» печатными буквами детской рукой: пятилетний ребёнок готовился к поездке на другой континент.

Сейчас в чемодане хранились вещи, оставшиеся у Ракель от матери. Ракель открыла замок и начала перебирать содержимое. На самом верху лежало изумрудно-зелёное шёлковое кимоно с узором в виде белых перьев. Подол потрёпанный, на одном из рукавов тёмное пятно величиной с ладонь. Ракель смутно помнила, как мать наклоняется к ней, берёт на руки и она оказывается в облаке прохладного, шепчущего и шелестящего шёлка. Ещё там была футболка с принтом STOCKHOLM MARATHON 1992, столько раз стиранная, что хлопок стал тонким, как бумага; карманное издание «Чёрная кожа, белые маски»<sup>39</sup> без задней обложки и с рассыпающимися страницами, покрытыми карандашными пометками, с птичками на полях; а ещё пара старых шиповок из семидесятых или восьмидесятых.

И тетради в чёрных клеёнчатых обложках, всего одиннадцать штук.

Других бумаг после исчезновения матери Ракель не нашла. На чердаке дома хранились полдюжины коробок, на которых рукой Мартина было написано *вещи Сесилии*, и Ракель тщательно пересмотрела содержимое каждой. Там были в основном всякие мелочи и одежда. Книги отец оставил на полках квартиры на Юргордсгатам, возможно, потому что было бы сложно перевезти куда-то тысячи томов, или потому что книги были частью общей истории супругов Берг. На дне одной из коробок лежали клеёнчатые тетради.

В надежде понять её Ракель прочла всё, что опубликовала мать. Первый раз в подростковом возрасте, и мало что поняла. Слова – слова с другого края пропасти – обладали особой силой, но ничего не объясняли тринадцатилетней Ракели, которая, закрывшись у себя в комнате, искала значения слов *парадигмальный* или *дискурс* с таким чувством, будто она делает что-то запретное. В гимназии Ракель предприняла новый заход – вооружившись эспрессо в кафе «Ява», начинала читать, но прятала книгу всякий раз, когда рядом появлялся кто-нибудь знакомый, а происходило это почти непрерывно. На протяжении нескольких лет она читала одну главу здесь, другую там, загибала страницы, оставляла на них круги от кофейных чашек, читала, когда не спалось, забывала, где остановилась, и начинала сначала; как-то сослалась на один из текстов в школьном сочинении, но передумала за пять минут до конца урока и сдала работу, вычеркнув весь абзац целиком.

Первая книга «Атлантический полёт» была сборником эссе об исторических персонажах, которые так или иначе вызывали у Сесилии восхищение. Их общим знаменателем было бескомпромиссное отношение к жизни и те жертвы, на которые им приходилось из-за этого идти. Эссе, давшее название всему сборнику, посвящалось Амелии Эрхарт, первой женщине-авиатору, перелетевшей Атлантический океан и пропавшей без вести в Тихом океане в 1937-м. Далее Сесилия обращалась к Лу Андреас-Саломе, наиболее известной в качестве музы и друга великих мужчин; пианисту Гленну Гульду, чья эксцентричность порой воспринималась как

<sup>39</sup> Франц Фанон. «Чёрная кожа, белые маски», 1952 г.

истинное безумие; философу Людвигу Витгенштейну, чьи дневники Сесилия перевела и писательнице Анаис Нин, она в то время была актуальна благодаря своему знаменитому «Инцесту».

Вторая книга представляла собой переработанную и более лёгкую научно-популярную версию её научной диссертации. Она вышла через полгода после исчезновения Сесилии. С фотографии на обороте обложки смотрела серьёзная женщина с орлиным взглядом, на её лицо падали тени.

Из неопубликованных работ остались, видимо, только эти клеёнчатые тетради. Полностью исписанные всевозможными заметками, часто без дат. Почерк размашистый, с наклоном вправо, много букв, написанных без отрыва, крупные острые прописные. Точки и чёрточки иногда опущены. Чаще всего Сесилия писала параграфами, озаглавливая каждый, это походило на структуру отдельных работ Ницше. Короткие записи о том, что вызывало её интерес: отношение западного мира к Советам, раскрытое в «Рокки-4», теряющийся смысл классического образования в современном обществе, тот факт, что Бах закончил «Страсти по Матфею» до воскресения, когда Иисус мёртв, как любой смертный, и у его учеников нет ни проблеска надежды. Очень редко заметки касались её личной жизни. Иногда встречались имена, номера телефонов и списки дел, в которых вычеркнуто, как правило, было меньше половины. Рефрен – вопросы, которые нужно *обсудить с М.* Ракель всегда думала, что М. – это Мартин, но, учитывая характер этих «вопросов» – какие типы префиксов используются в определённых немецких или французских понятиях и прочее, – это с тем же успехом мог быть Макс или кто-то ещё. Кое-где встречались слова и выражения, записанные другими знаковыми системами, эфиопским письмом или на классическом греческом, но и в этих случаях почерк был размашист и небрежен. А греческие буквы и вовсе безнадёжны.

И нигде никаких дат, Ракель нашла только одну заметку, напоминающую дневниковую запись и сделанную так неаккуратно, что её с трудом удалось дешифровать. Когда Ракель – ей тогда было четырнадцать – прочла это в первый раз, ей стало противно. Потом она забыла об этом на несколько лет, пока однажды не вернулась домой грустной и пьяной и ей пришла в голову сомнительная идея перечитать записные книжки матери. Текст произвёл тот же эффект – живот свело так же, как при тошноте.

*В самолёте: Густав спит, не знаю, как мне высадить его в Ландветтере* <sup>40</sup>. *Отвратительная кварт. в Камдене. В общ. красивый дом, фрески на лестнице и пр, но омерзительно грязная квартира. Запах старой еды, тела, мочи. Гейнсборо на стене, возможно, хорошая реп. (Густав?) Г. сидел на полу и кричал «нет, нет, без Л нет» снова и снова, но Л., слава богу, не было. Он должен был представлять писателя, лежал, не шевелясь & обкурившись, в кровати, издавал гортанные звуки, как будто угрожая. Г. худой & слабый, рассеянный & злой. Била, чтобы протрезвел. Всю дорогу до такси его рвало.*

<sup>40</sup> Аэропорт Гётеборга.

## 9

На тарелочках остатки чизкейков и скомканные салфетки, остатки вина разлиты по бокалам, свечи почти догорели. Мартин Берг откинулся на спинку стула, надеясь, что производит впечатление внимательного слушателя, разговор шёл о предстоящем двадцатипятилетии издательства «Берг & Андрен». На самом деле он думал о том, как часто Пер, стоически отказавшийся от добавки декадентского десерта, сейчас спит со своей женой Сандрой, которая в данный момент протирает стёкла очков подолом платья и близоруко смотрела на гостей. Как получилось, что они так долго женаты? Каково это, когда вместе удерживает общая фамилия, ипотека, двое детей и пятнадцать лет? Столько всего происходит, как в пьесе Ибсена, а ты приходишь на ужин и видишь лишь верхушку айсберга.

– На выходных мы хотим устроить небольшой ужин, – сообщил ему Пер за несколько дней до этого. – Если у тебя, конечно, нет других планов.

Да, есть, подумал Мартин, например, сидеть дома и читать посредственные тексты человека, у которого много всякого на сердце, а на голове какая-нибудь дурацкая соломенная шляпа; или ждать возвращения сына, который будет пытаться скрыть, что пьян, и визита дочери, который она нанесёт ему из самаритянского милосердия, чтобы прийти и быстро уснуть на диване. А ещё у него может быть план перечитать все книги Уоллеса, потому что последний раз он это делал несколько лет назад. Или, к примеру, остаться в тренажёрном зале до закрытия и удирать по беговой дорожке от своих средних лет.

– Отличная идея, – ответил Мартин.

Это было сильной стороной Пера – он любил выступать в роли устроителя подобных мероприятий, а Мартин охотно их посещал, но сам подобное затевал редко. В молодости он представлял себе бурные полуночные дискуссии интеллектуалов на его собственной прокуренной кухне: звон тяжёлых кубиков льда, холодные бокалы, Сесилия в кимоно, которое развешивается за плечами, в окружении теней и схематично очерченных образов... Джаз на виниле или, ещё лучше, задыхающийся бибоп в исполнении живого трио, что удивительным образом совсем не мешает соседям. Соседи, возможно, тоже здесь, курят косяк в форточку и что-то кричат проходим, и всё это продолжается по меньшей мере до восхода солнца.

Но когда Мартин приглашал к себе, ему никак не удавалось поймать баланс: знакомыми среди гостей оказывались либо двое, либо все. То же касалось и Сесилии, которую предстоящая роль хозяйки вечеринки превращала в лань, завидевшую приближающийся автомобиль, хотя её мать упражнялась в этой роли всю свою жизнь и играла её с изяществом Глории Свенсон<sup>41</sup>. В тех редких случаях, когда Сесилия устраивала вечеринку, мероприятие быстро выходило за рамки: Густав, к примеру, утверждал, что после того, как они отпраздновали за городом её тридцатилетие, его три дня мучило похмелье, а в ближайших к дому зарослях черники до сих пор можно найти бутылки и банки, эти лаконичные послания будущим археологам.

Среди нынешних гостей Мартин не знал только двоих. На его конце стола нить беседы вилась вокруг автобиографий. Редактор одного журнала говорил о нынешней одержимости правдивыми историями безотносительно их литературной ценности.

– Это люди реальности, – заметил кто-то.

– Просто проявление классового презрения, – добавил кто-то другой.

Мартин наклонился чуть вперёд:

– Если бы люди не любили правдивые истории или, скажем так, истории, которые закамфлированы под вымысел, но воспринимаются как правда, – произнёс он, – то всем издательствам давным-давно бы сказали «спасибо и до свидания».

<sup>41</sup> Глория Свенсон – американская актриса немого кино.

– Почему так? – спросил редактор журнала. Общий разговор к этому моменту затих, и все смотрели на Мартина.

В начале, рассказывал он, они несколько лет работали с результатом плюс-минус ноль. Не брали зарплату. Подрабатывали в других местах и искали гранты. Потом случился кризис девяностых (здесь слушатели всегда вздыхали и вспоминали недавний 2008-й), и маленькому издательству наверняка пришёл бы конец, если бы не Лукас Белл, известный на тот момент британский писатель, который по неведомой причине потребовал, чтобы шведский перевод его романа вышел именно в «Берг & Андрен». Возможно, это объяснялось эпатажным противостоянием истеблишменту. Зачем ему «Бонниер» или «Норстедс», когда можно выбрать крошечное издательство в Гётеборге, у которого почти нет денег на рекламу, и заодно рассориться с собственным агентом в Лондоне?

– Да, зачем? – сказал Пер, не первый раз подыгрывая в этом анекдоте.

– Затем что маркетинг – это для покоровившихся капитализму приспособленцев, – продолжил Мартин. – Затем, чтобы пойти наперекор. Затем, чтобы тебя считали панком, потому что тогда тебя полюбит толпа, в которой панков нет. Затем, чтобы устроить нечто вроде перформанса и заставить всех подумать об отношениях искусства и коммерции. – Именно так они с Пером тогда и поняли ситуацию, а Пер поначалу вообще думал, что всё это шутка. Потому что в фарватере дебютного романа Белл обзавёлся репутацией *enfant terrible* и литературной рок-звезды. Под заголовками АРТЮР РЕМБО НАШЕГО ВРЕМЕНИ его портреты появлялись на обложках «Ай-Ди» и «Фэйс», его периодически арестовывали за употребление наркотиков и езду в нетрезвом виде. В романе было достаточно деталей, сопоставимых с жизнью автора, а на вопрос, что именно из описанного в книге он пережил сам, он всегда отвечал с нарочитой уклончивостью. Они никогда не встречались с Беллом лично, потому что всего за день до его приезда на книжную ярмарку у этого подлеца случился передоз и его увезли в клинику в Уэльсе.

Но книга продавалась. (Разрозненные смешки.)

– Я помню, я читал, – сказал кто-то, имеющий отношение к театру. – Как же она называлась... эээ...

– A Season in Hell, – подсказал Пер. – «Одно лето в аду», прямая аллюзия на Рембо.

– Как бы там ни было, потом он сострепал автобиографию, где рассказал, как опомнился и обрёл смысл жизни, – сказал Мартин. – Но её мы издавать не стали. – (Более дружный смех.)

Потом заговорили о газетной отрасли, где всё обстоит ещё хуже, чем в книжной, и дама, оказавшаяся журналисткой, произнесла длинный, в духе греческой трагедии, монолог о том, что газету, подобно Ифигении, принесли в жертву, дабы наполнить оцифрованным ветром паруса и пойти на войну, которая, скорее всего, всё равно закончится поражением.

Мартин почувствовал, как чья-то нога коснулась его ноги. Сначала он не придал этому никакого значения, решив, что это случайность, но игривая нога повторила манёвр. Вычислить, кому она принадлежала, не составило труда – Марии Мальм, которая сидела напротив, опустив ресницы и глядя на дно своего бокала. Он запомнил её имя только из-за яркой аллитерации, а ещё потому что она иногда писала для «Гётеборг постен»<sup>42</sup>. Пророчества о скорбной участи её работодателя она слушала с полным равнодушием. Мартин подался немного вперёд и ещё до того, как задать вопрос, вспомнил, что она что-то пишет.

Ну да, у Марии есть несколько поэтических сборников. Чёрт, подумал плохо разбирающийся в поэзии Мартин. Она что-то рассказывала, а он кивал.

Краем глаза заметил выразительный взгляд Пера и тоже посмотрел в его сторону. Не хватало только, чтобы Пер показал ему кулак с поднятым большим пальцем. В последние годы он играл сваху с энтузиазмом какой-нибудь бездельницы-вдовы из восемнадцатого века.

<sup>42</sup> «Гётеборг постен» – крупнейшая газета Гётеборга.

По молодости Мартин всегда раздражался, если люди завязывали отношения, это означало, что они исчезали с радаров. Потому что у них появлялись дети и пропадали интересы. Потом лет десять он пребывал плюс-минус в одной фазе со всем своим окружением, которое остепенялось, переезжало из полуразрушенного жилья, заканчивало образование, начинало работать, получало зарплату, прекращало покупать самое дешёвое пиво, вообще завязывало с пивом, потому что надо было пережить эту жуть младенчества детей; потом новая машина, лишний вес и постоянное место работы, не то, о котором мечталось, но тоже более или менее, плюс довольно стабильный доход.

Потом, после Сесилии, он какой-то период пребывал в одной фазе с другой, менее многочисленной группой – разведёнными и снова одинокими. Теми, кто неожиданно открывал для себя «Tunnel of Love» Спрингстина, альбом о разводе, который раньше терялся в захватывающем вихре мелодий семидесятых. Детей рядом не было, разведённые снова начали выходить на связь. Ходить в рестораны и сокрушаться, что все вокруг такие молодые, и восклицать, боже, почему у них нет больше возрастного ценза – и с ужасом высчитывать на пальцах, что люди за соседним столиком родились в тот год, когда ты лишился невинности на плюшевом диване на чердаке чьей-то дачи. А дальше – один раз переспать, напиться и всё испортить двухчасовым разговором о бывшем.

Сколько лет это окно обычно не закрывается? Пожалуй, лет пять. А потом что-то происходит. Переход на новый виток, более быстрый. Внезапно покупается дача. Или люди вступают в новый брак – стоя босиком на краю скалы в Бохусе. Дети супруга именуются бонусными, а слова «отчим» и «мачеха» остались только в сказках для обозначения злодеек и злодеев.

Ту черту, за которой одиночество становится аномалией, Мартин уже перешёл. Люди на такое реагируют, и даже пятидесятилетние, которые со всей серьёзностью называют своё положение «незамужняя» или «неженатый», не имеют в виду, что они одиноки, а дают понять, что они одиноки-но-ждут. Но одиночество, которое длится и дальше, вызывает подозрения. Что с человеком не так? Где он ошибся? Почему прекратил поиск? Предполагается, что такой человек обязан зарегистрироваться на сайтах знакомств. Выбрать фото, которое покажет его в лучшем ракурсе, но всё же не будет лгать. Он должен терпеть людей, которые используют в сообщениях смайлы, потому что не способны сформулировать мысли. Договариваться о встречах. Дейтинг, какой отвратительный англицизм. Дальше берётся курс на воскресные обсуждения культурных новостей за кофе, выезды на дачу к морю парами и ту тёплую тяжесть, которую приобретает жизнь от присутствия рядом другого человека.

Мария рассказывала о норвежском поэтическом сборнике, который сейчас переводит. Под тяжёлой пеленой вина его мысли зашевелились лениво, как первобытные животные, но всё же сгруппировались в форму, способную преодолеть сопротивление нервной системы, языка, зубов и губ – и, возможно, произвести впечатление на эту Марию Мальм, чьё аллитерированное имя он уже вспомнил и в связи с парой публикаций, в которых он даже что-то подчёркивал. Он сделал глоток и мельком посмотрел на её ключицу. Подлил вина в её бокал. Задал несколько вопросов. Похвалил её тексты в утренней газете.

– Короче, – проговорил Пер, с явным увлечением наливая кофе в чашку соседки по столу, – ты с ней флиртуешь.

Да, конечно. Разумеется. Давайте называть вещи своими именами. Он флиртует. Возможно, чтобы угодить Перу. Возможно, потому что этого не избежать. Вот они: издатель и писательница. Средних лет. Полжизни или скорее две трети позади. Бог знает, что у неё за плечами. А у меня: Сесилия, жена, исчезнувшая пятнадцать лет назад, странноватая история для всех, кроме меня, Пера и ещё нескольких человек, которые её знали.

Пер ничего не *планировал*, это было бы чистой паранойей, он не планировал приглашать этого покинутого Мартина на ужин, где будет одна из ста тысяч его знакомых, то есть эта самая Мария – недавно, надо думать, разведённая? – но когда они с Сандрой решили организовать эту

встречу, этот ужин для смешанной компании, имеющей отношение к культуре, он вспомнил именно о Марии. Они же оба живут, зарабатывая словами. Он чужими, она собственными. (Подожди, это же что-то знакомое, где это было?) У обоих многоуважаемые книжные шкафы, которые можно сравнивать и обсуждать, хвалить и хвастаться – надо же, ты тоже ждёшь новый перевод «Улисса»! – и если бы не свойственный среднему классу невротический стыд тела, они бы угодили в медвежий капкан и рухнули бы в объятия друг друга прямо тут, под лампочкой, у первого же шкафа, неважно, чей он, его или её, поскольку собрание сочинений Фуко есть у обоих. Но нет, мы ненадолго остановимся, с медвежьим капканом повременим, пойдём к нему в обход. Итак, они случайно решают уйти одновременно. Она:

– Уже темнеет, – и лёгкий кошачий зевок.

Он:

– Пора, пожалуй, и честь знать.

Потом они медленно пройдутся через Васапаркен под шелест деревьев, она возьмёт его под руку своей маленькой ручкой. Сейчас неподходящий момент, дети, Тильде, скажем, и Вильде, пяти и семи лет, на этой неделе живут у неё, но в лоб она об этом не скажет, это было бы слишком прямолинейно, а поэтесса Мария Мальм так действует редко. И они расстанутся, договорившись поужинать как-нибудь на следующей неделе. Она сядет в такси. Он уедет на трамвае. Он проснётся с похмелья и начнёт шаг за шагом вспоминать вчерашний вечер и чувствовать, что он... – да, что? Растерян? Озадачен? На что-то надеется? Он включит кофеварку, откроет газету, где случайно окажется её статья, и он прочтёт её с чувством, как будто сделал что-то неприличное.

Они быстро договорятся о времени и месте, и он забронирует столик в «Торнстрёмсчёк» или в «Фонд». Погладит белую рубашку и причешет волосы, а Элис, на сей раз оставшийся дома, возможно, потому что у него кончились деньги, громко поинтересуется, куда он идёт, этим всё ещё ломающимся голосом. Мартину захочется ответить «на улицу» и хлопнуть дверью, но ему покажется, что шутку Элис не оценит.

– У меня встреча по работе, – ответит он.

Мартин будет стоять перед зеркалом и возиться с галстуком, пока Элис со вздохом не завяжет ему правильный узел.

– Не задерживайся, – скажет сын и подмигнёт, а Мартина так растрогает эта милая шутка, что он не сможет быстро придумать, как ответить. Ему пора – она уже на месте, целует его в щёку, они смотрят меню и заказывают вино. Мария в сдержанном чёрном, жемчужные серёжки, волосы собраны на затылке в пучок. У них «целая вечность, чтобы узнать друг друга». Она рассказывает, как разводилась с Хенриком, называя его «мой бывший муж».

В качестве холодной закуски: тост с тресковой икрой.

Он делится отредактированной версией ухода жены, которую называет Сисси.

– Она просто исчезла? – спрашивает Мария Мальм, делая вилкой вопросительный жест. – И ни разу не дала о себе знать?

Горячее: арктический голец и филе ягнёнка.

Она рассказывает о Тильде и Вильде, которые занимаются капзёррой и ходят в центр творческого развития. Он рассказывает о Ракели и Элисе, и в середине развёрнутого пассажа о том глубоком интересе, который у Ракели вызывают древние цивилизации, фиксирует, что уже рассказал о сыне и дочери больше, чем следовало; но эту вербальную экскурсию Мария Мальм сворачивает весьма изящно – слегка склоняет голову набок и говорит:

– Вы очень любите своих детей, это видно.

Десерт: крем-брюле, сырная тарелка.

Она рассказывает о своём последнем проекте, поэтическом сборнике о лесе. Он рассказывает об издательстве и новых книгах. Они оприходовали как минимум две бутылки вина за вечер и поняли, что отлично подходят друг другу, писательница и издатель, Мария и Мар-

тин, Мальм & Берг, это очевидно, это удивительно, столько совпадений, они хохочут, её рука касается его руки.

Счёт: пополам.

Они решают продолжить и выпить ещё по бокалу, он помогает ей надеть пальто, он слегка покачивается, что-то кажется им безумно смешным, они выходят на улицу, раннее лето, они идут, не глядя куда, в поисках подходящего бара, целуются по дороге, и проект с Ещё Одним Бокалом становится излишним. Берут такси. Она живёт в доме на Кунгсладугордсгатан, детская обувь, смятый тряпичный коврик на белом дощатом полу в прихожей. Она приносит бокалы и виски, он обнаруживает CD-проигрыватель, но, не загрузив диск, нажимает на play, и раздаются оглушительно громкие голоса смурфиков, проигрыватель быстро выключается, им очень весело, Мария ставит бокал и бутылку на журнальный столик из тика, её просто трясёт от хохота. Мартин находит диск Билли Холидей и, подталкиваемые смехом, они падают друг другу в объятия и целуются, её тёплое тело вибрирует, она берёт его за руку, они идут по лестнице наверх, она расстёгивает его рубашку, он стягивает с неё платье, её дыхание у его уха, его пальцы на её спине. Потом они лежат рядом, для него это впервые за очень долгое время, и он мельком думает, что хорошо бы это случалось чаще.

На следующее утро он просыпается в её постели и смотрит по сторонам, пока она ещё спит. Скошенный потолок, широкая кровать, явно предназначенная для двоих, как и его собственная. Кровать, купленная с мыслью, что на ней много лет будут спать двое, превратилась в одинокий корабль-призрак. Нечто вроде «Летучего голландца» в ночном море, размышляет он, глядя на спящую Марию. На её тонкий нос и проколотые уши.

И дальше: они завтракают, читают вместе газету, на ней пижама, волосы рассыпаны по плечам. Они продолжают встречаться. Ходят на прогулки, случайно забредают на деревянную набережную рядом с Рёда Стен, сидят там и смотрят на лодки и мост и снова рассказывают друг другу о себе. Ходят вместе в театр и кино. Мартин готовит свою самую любимую пасту, а она, усевшись на кухонный стол, пересказывает ему конфликт в редакции газеты. Он знакомится с её детьми, стеснительными, одетыми в полосатые свитера. Он сообщает Ракели и Элису, что «встретил человека», и Мария Мальм приходит к ним домой на нервный ужин. Все довольны. Все кричат «ура!». Особенно Ракель и Элис. Они созданы друг для друга! Все счастливы, конец!

Мария Мальм, не подозревавшая о том будущем, которое только что парило над ней, перебирая возможности времени и пространства, налила себе вина и уже собралась подлить и Мартину, когда он поднял руку и сказал:

– Спасибо, нет. Мне достаточно. Я должен идти.

– Но, Мартин, – начал Пер, – ты же сейчас не уйдёшь...

Мартин прикрыл глаза и кивнул, старательно изображая мудреца:

– Увы. Завтра будет новый день и так далее.

Мария опустила взгляд и закусил губу. «Что она себе навоображала, – подумал Мартин, – что мы тут герои какого-нибудь дурацкого романа Джейн Остин?» – Он поблагодарил и надел пальто.

Апрельский вечер встретил его как старого друга. Примиряющий, тёплый, лучшее время для пробуждения. Мартин прошёл мимо Васаплатсен, чтобы посмотреть, распустилась ли уже сирень или ещё ждёт.

Ждёт.



## Углублённый гуманитарный курс 1

### I

ЖУРНАЛИСТ: Таким образом, правды из художественной литературы не узнаешь?

МАРТИН БЕРГ: Напротив. Возможно, она именно там. Во-первых: что такое правда? Во-вторых: способен ли человек определить, что является правдой? В-третьих: может ли человек выразить её в словах и передать другому человеку? Если брать чисто бытовой уровень, то тут всё до банального просто. К примеру, правда, что мы с вами сидим здесь, в моем офисе. Правда, что сегодня вторник. Правда, что вы берёте интервью для «Свенск бухандель», я надеюсь?

ЖУРНАЛИСТ: О да...

МАРТИН БЕРГ: Правда, что река за окном называется Гёта эльв. Правда, что третий, девятый и одиннадцатый маршруты идут через Йернторгет. И так далее. Но как только мы покидаем физические факты и пытаемся проникнуть в то, что мы, наверное, можем назвать правдой *человека*, всё сразу становится намного сложнее.

\* \* \*

Когда он увидел её в первый раз. Снова и снова он пытался описать эту сцену – ресторан в Васастадене, голубой бархат сигаретного дыма, шум и голоса на фоне скрежета Дилана – и снова и снова отступал. И всё же видел очень чётко. Свет от барной стойки падал ей на лицо. Бледные пальцы разминали сигарету. Складки куртки на плечах, закатанные рукава. И взгляд вдаль, сфокусированный на том, что никто, кроме неё, не видит.

*Это* случилось в конце третьего курса университета. Четверг, а до него череда долгих дней, обязывавших читать книги, которые не вызывали у него никакого интереса, картонные бутерброды на обед, ледяной ветер, библиотека, где всегда холодно, серое небо, вечная нехватка денег, безвкусное пиво и спагетти на ужин. Мартин тогда вдруг остро почувствовал отчаяние от одной мысли, что сейчас он пойдёт домой и ляжет спать, а безликий день, из которых состояла его жизнь, закончится, и с ним снова не произойдёт ничего важного. До стипендии оставалась неделя, и когда позвонил Густав и предложил пойти куда-нибудь выпить пива, Мартин отреагировал стойко:

– Не могу, я полный банкрот.

Кроме того, на него издевательски смотрела пустая тетрадь, лежавшая на столе рядом со сборником текстов Фреге и Рассела. На обложке он написал тушью КУРСОВАЯ РАБОТА, но дальше этого пока не продвинулся.

Написание эссе у студентов старших курсов сопровождалось сложными и изощрёнными муками творчества. Мартин наблюдал за всем этим в читальном зале, видел, как они таскают из запасников огромные стопки неизвестных книг. С некоторой завистью слушал их рассказы о научных руководителях и специальных семинарах и нетерпеливо ждал. Но сейчас в необходимости за ограниченный срок написать двадцать страниц на тему, которую ты толком не понимаешь, не осталось ничего привлекательного. На самом деле он хотел писать о Сартре, но руководитель, которого ему назначили, критически прищурился и начал протирать стёкла очков, явно пытаясь скрыть тот факт, что непонятное увлечение студентов экзистенциализмом у него лично вызывает крайнее раздражение, которое он пытается сдерживать. И Мартин услышал собственный голос:

– ...Или, может быть, что-то по Витгенштейну?

После чего доцент Баклунд водрузил на нос очки и с довольным видом откинулся на спинку кресла. Университетские преподаватели, как заметил Мартин, напоминали пожилых родственников. С отцом, хочешь или нет, но надо обсуждать яхты и кризис социал-демократии, а с тётей Мод – её друзей. Точно так же приходилось идти навстречу университетским преподавателям и выбирать интересные им области. Епархией Баклунда была аналитическая философия; к континентальной школе он относился как к заблуждениям менее просвещённых. Настаивать не имело смысла.

В общем, Мартину следовало остаться дома, читать учебник логики и оживлять своё существование исключительно «Логико-философским трактатом»<sup>43</sup>.

– Жить не по средствам значит жить ниже собственного достоинства, – заявил в трубку Густав. – Можешь одолжить у меня. Мне бабушка заслала бабок.

Вопрос, что лучше – заняться Фраге или слегка влезть в долги.

Когда Густав появился, Мартин успел выкурить две сигареты, поприветствовать троих знакомых и выбрать стратегически верную траекторию, чтобы обойти фонтан, избежав встречи с одной старой подругой. Густав шёл с прямой спиной, пружинистой походкой, военная куртка нараспашку, хотя на дворе стоял февраль.

– Я же не опоздал?

– Нет, что ты.

– Уффе сидит у тайцев.

– Ты не сказал, что Уффе тоже будет.

– Перестань. – Положив руку ему на плечо, Густав повёл Мартина за собой в Хагу. – Он там держит столик и всё прочее. Ну и погода, чувствуешь? Скоро весна. – Он улыбнулся небу и подбросил вверх фуражку.

За последний месяц настроение Густава прыгало туда-сюда. Началось всё с того, что Мартин предложил пойти и сделать анализ на ВИЧ, просто чтобы быть уверенными. Густав покачал головой. Читать газеты он отказывался. Если кто-то упоминал, что в Стокгольме у одного знакомого его знакомого подтвердился диагноз, Густав вставал и выходил из комнаты. В этом чувствовалось некоторое преувеличение.

– Наверняка это не страшно, – заявил Мартин с уверенностью, свойственной тем, кто хочет прежде всего убедить себя. Ему казалось, он достаточно хорошо предохранялся и раньше, главным образом, потому что не хотел оказаться участником разговора, когда кто-нибудь, откашлявшись, объявит ему, что он станет папой. Завести ребёнка само по себе было плохой идеей, не говоря уж о ребёнке от какой-нибудь безумной девицы, вроде той, с игуаной, с которой он познакомился в «Спрэнгкуллене»... его передёрнуло.

– Об этом надо знать? – спросил Густав.

– Лучше знать, чем не знать и гадать.

– Это же то же самое, что знать, что тебя казнят.

– Женщины рожают верхом на могиле, мгновение сверкает день, потом снова ночь<sup>44</sup>, – процитировал Мартин.

– Пер Лагерквист в этом ни хрена не понимал.

– Это Беккет.

– А-а, а я подумал, «Тоска, тоска моё наследство».

– Это очень далеко, – возразил Мартин.

В конце концов Густав дал себя уговорить. Пока они ждали, он без умолку говорил о том, как боится уколов, и порвал талончик на мелкие клочки. Он был уверен, что потеряет сознание. Повторял, что они не попадут в вену. И будут прокалывать её снова и снова.

<sup>43</sup> Крупнейшая работа Людвиг Витгенштейна.

<sup>44</sup> С. Беккет «В ожидании Годо», пер. М. Богословской.

– Тогда тебе лучше под наркозом, – сказал Мартин.

Когда они уходили из клиники, Густава вырвало в мусорную корзину.

За две недели ожидания они ходили в бары практически ежедневно. Когда Густав напился, он либо засыпал, либо начинал говорить о смерти. Смерть, утверждал он, это его судьба. У него в роду было полно людей, которые откинулись слишком рано. У дяди было большое сердце, и он умер во сне, в тридцать пять. Двоюродная бабушка умерла от рака. И родная тётя тоже. Дед по матери умудрился утонуть в совершенно спокойном море.

– Смерть в любом случае – это судьба каждого, – заметил Мартин, но Густав лишь печально на него посмотрел.

До получения результатов Мартин учился, насколько это позволяло постоянное похмелье. Ответ был, разумеется, отрицательным. Густав от радости потерял сон. Он нарисовал картину, изображавшую мать и дитя, и назвал её «Слава жизни». Угощал булочками. Настоял, чтобы они пошли к памятнику жене моряка любоваться морем, и они пошли туда с красными от холода и ветра носами.

Столик в «Тай-Шанхай» заняли другие, и даже свой стул Уффе с кислой миной отдал первокурснику Валанда.

– Пойдём отсюда, – сказал он, сдержанно кивнув Мартину, пока тот закуривал сигарету. Всю дорогу через Хагу и половину пути по Васагатан Уффе разглагольствовал о каком-то преподавателе, который ничего не понимает и которого нужно снять с должности. Мартин подавил зевок.

– А давайте сюда, – сказал Густав перед дверью заведения, куда они обычно не ходили.

– Это что ещё за кабак? – спросил Уффе.

Они заказали пиво и расположились за единственным свободным столиком. Мартин сел спиной к стене и лицом к бару.

И она оказалась прямо у него перед глазами.

Она сидела с наполовину выпитым бокалом пива, поставив локти на стойку и держа в руке сигарету. Тонкие, покрытые веснушками руки выглядывали из закатанных рукавов слишком большой куртки. Волосы «тёмный блонд» длинными локонами рассыпаны на спине и плечах. В глазах напряжённое внимание. Несмотря на то, что вокруг было накурено и шумно, казалось, что вокруг неё сфера покоя.

Сначала он решил, что она кого-то ждёт. Возможно, мужчину. Он старше. В твидовом пиджаке и очках в черепаховой оправе, возможно, пишет диссертацию о влиянии кубизма на какого-нибудь малоизвестного немецкого художника. Или подругу, которая появится в любой момент и расскажет анекдот, и девушка в куртке не по размеру засмеётся, и магия исчезнет. Но никто к ней так и не пришёл. Она сидела одна и пила пиво. Потушила сигарету и начала разминать следующую. И ровно когда он решил подойти и что-нибудь ей сказать, она положила на стойку купюру, быстро улыбнулась бармену и исчезла.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.